

ISS № 0130-3600

საქართველოს
ლიტერატურის
ინსტიტუტი

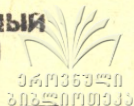


ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

2

1985

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

«СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЕЩИЙ ЗНАК...»

- ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. «Свидетельствует вещий знак...» 3
- ИРИНА ВОЛОБУЕВА, БЕЛЛА АХМАДУЛИНА, ДАВИД САМОЙЛОВ. Стихи 27, 30, 36
- БОРИС СЛУЦКИЙ, СЕРГЕЙ ПЕТРОВ, ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ, ПАВЕЛ ГРУШКО. Стихи. 37, 39, 41, 43
- ЛЕОНИД ТЕМИН, ИЛЬЯ ДАДАШИДЗЕ, МАРИНА КУДИМОВА, СВЕТЛАН СЕМЕНКО. Стихи. 46, 48, 49, 53
- НИКОЛАЙ ШАХБАЗОВ. Мальчик на фоне дерева. Деталь. Повесть 54
- РОБЕРТ ВИНОНЕН, ВАЛЕРИЙ КРАСКО, ВИКТОР ШИРОКОВ. Стихи 100, 101, 103
- МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ, НАТАЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ, ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО. Стихи 104, 106, 112

2

1985



საქართველოს
წიგნების გამომცემი

ГАЛИНА МЕДЗМАРИАШВИЛИ, ГАНДЛЕВСКИЙ, НАТАЛЬЯ СТИХИ	СЕРГЕЙ ГЕНИНА. 116, 117, 122
МИХАИЛ ШОР, НИКОЛАЙ ЕРЕМИН, ЮРИИ ЮРЧЕНКО. Стихи	124, 126, 127
НИКОЛАЙ КОНОНОВ, СВЕТЛАНА КЕКОВА, ВЛАДИМИР МОРОЗОВ. Стихи.	131, 134, 138
АЛЕКСАНДР ПЧЕЛИНЦЕВ, МИХАИЛ КРА- ЛИН, АНАТОЛИЙ ЛАРИОНОВ. Сти- хи	142, 144, 146
ЛАРИСА ФОМЕНКО, АННА БЕРДИЧЕВ- СКАЯ, АННА ФУНИКОВА-ДЖАНДИЕ- РИ. Стихи.	148, 153, 156
БОРИС ВИКТОРОВ, СЕРГЕЙ БИРЮКОВ. Стихи.	158, 161
АНДРЕЙ БИТОВ. Грузинский альбом	162
ВАЛЕРИИ ИСАЯНЦ, ГЕОРГИИ ВЛАСЕНКО, МАРК БОГОСЛАВСКИЙ. Стихи.	197, 200, 201
ВАДИМ ПОПОВ, ГЕЛИИ АРОНОВ, МИХА- ИЛ БРИФ, ОЛЬГА ОДИНЦОВА. Сти- хи.	203, 205, 206, 207
НАТАЛЬЯ НЕБЫЛИЦКАЯ, ВОЛЕМИР ГРУ- ЗЕЦ, МИХАИЛ РОММ, ЛАУРА СТА- СЕНКО. Стихи	209, 210, 211
ГАЛИНА ПАРЦВАНИЯ. АЛЕКСАНДР ЦЫ- БУЛЕВСКИЙ, ДМИТРИЙ ЛАКЕРБАЙ, МАРИНА КАГАН. Стихи.	212, 214, 218, 221
<hr/>	
Хроника	224



«СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

ВЕЩЕЙ

ЗНАК...»

О ЧЕМ бы ни писали поэты и прозаики — исходной почвой и конечной целью их работы являются жизнь, человек, народ. Защита жизни на земле и человечности в человеке — вот что объединяет людей доброй воли повсюду и, конечно же, на любом, даже самом малом, участке того благородного поля действия, каким является литература. Самоочевидно, что первым и главным условием защиты жизни является защита мира. Считанные месяцы остались до сороковой годовщины Победы, а страдания и боль той — Великой Отечественной войны — еще не улеглись, и «глядят со снимков пожелтевших военной юности глаза». Так начинается свои стихи молодая тбилисская поэтесса Анна Фуникова. Это о тех, кто не вернулся: «В бессмертье мальчики в шинелях дорогой долгою идут» —

Им даже каски большеваты,
Но лица трудно не узнать:
Тем, кто помладше — восемнадцать,
Тем, кто постарше — двадцать пять...
...Дыханье тех, кто вечно молод,
Грудь обжигает, леденя,
Как самого Бессмертья холод
И Пламень Вечного огня.

А те, кто были постарше и прошли войну, и вернулись, сохранив в душе не зло, а добро, одержимы единым желанием —

помочь тем, кто в этом нуждается.. И встает из стихотворения Павла Грушко образ отца, ныне «доктора травяных наук», выискивающего среди окружающих, кому бы помочь своим искусством:

В этой повседневности осенней
с промельком своих и общих дат,
после всех удач и невезений,
войн, побед, находок и утрат,
и пожизненных забот кормильца, —
только и осталась у отца
одержимость робкая — томиться
в поисках недужного лица.

Но «недужное лицо», наверное, можно вылечить, скажем, эстрагоном и крапивой, а лик родной земли и планеты людей, если ей выпадет удел Хиросимы, уже будет неизлечим. Отсюда ответственность всех, в том числе поэтов, за «наш тревожный мир», дабы утвердиться в высказанной тем же Павлом Грушко вере и надежде, почерпнутых в гигантских усилиях нашей страны и всего здравомыслящего человечества:

В рыжей бочке с дождевой водой
всплыл со дна седой клочок газеты,
испещренный атомной бедой,
водородным ужасом планеты.
И, однако, в сонный вечер тот
ни душой, ни кожей я не верил
в то, что водород и кислород
предадут людей, синиц и клевер.

Одним из краеугольных камней этой веры в мир и добро, а победу разума над ужасом является чувство межнационального содружества и сплоченности, примером которого служит миру наша страна. Мировоззрение и мироощущение советского человека давно уже немыслимо без того «чувства семьи единой», у истоков которого в нашу эпоху законно значится и русско-грузинское поэтическое побратимство. Об этом накопилась уже целая литература. И нам не раз приходилось писать об этом при встрече с новым материалом, подтверждающим и развивающим эту уже ставшую хрестоматийной истину. А истина эта продолжает радовать нас новыми своими гранями.

Еще во вступлении к прошлой подборке под рубрикой «Вещего знака» мы отмечали, что в издательстве «Мерани» выходит второй

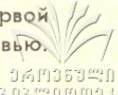
дополненное и расширенное издание составленного в свое время Константином Симоновым сборника «Если пелось про это» — прекрасного свода посвященных Грузии творений русских советских поэтов, и что новое издание обогатилось главным образом за счет стихотворений, опубликованных «Литературной Грузией», преимущественно в подборках «Вещего знака». Книга эта, которая тогда только готовилась к выпуску, стала уже радостной реальностью и, более того, — библиографической редкостью, настолько она пришлась по душе благодарному читателю. Что касается «дополнений», то достаточно сказать, что вместо ста авторов, представленных в первом издании, второе издание включает произведения ста сорока шести поэтов, а из новых сорок были напутствованы до этого «Вещим знаком», не говоря уже о новых произведениях ряда «старых» авторов, которые проделали тот же знаменательный путь. Но дело, разумеется, не в цифрах; главное то, что критерии, примененные при включении этого нового материала, были чрезвычайно высоки, и осененные «Вещим знаком» стихи выдержали это испытание.

Все это не могло не вспомниться нам, когда составлялась и нынешняя подборка, где в тематически разнообразном поэтическом потоке свое особое, на этот раз главенствующее место занял грузинский мотив. Разными путями — биографическими, литературными, географическими, социально-нравственными и культурно-эстетическими проникал он в душу, сознание, вдохновение того или иного стихотворца. Судьба и случай, книга и новое знакомство, воспоминание и мечта — все могло стать поводом, а затем и поводом уже в поэтической устремленности к этому краю. Я имею в виду, разумеется, поэтов, в творчестве которых едва ли не впервые прозвучали грузинские струны (о старых наших друзьях разговор особый), или же образ Грузии, давно запавший в душу и выверенный в ее «запасниках», вдруг яркой вспышкой оварил строки мастера. Так произошло с известными поэтами Ириной Волобуевой и Павлом Грушко. Годы детства и юности Ирины Волобуевой были связаны с Тбилиси, где она жила и училась. И вот в уже казалось бы «навечно дальнем отдалении» эта первая ее родина — Грузия ее детства, которая к ней не раз «пробивалась», еще раз настигла ее, воплотившись в ностальгические строки:

Везде настигает меня по тебе эта грусть,
Как птиц настигает, наверное, грусть по гнездовьям,
И грела мечта, что к тебе я когда-то вернусь,
Что солнцем твоим опалюсь

и ветрами напылюсь

Что встречу с тобой, как встречаются с первой любовью.



А в благодарной памяти Павла Грушко высвечивается осень в Кахети, с почти академическим — при всей живописной трепетности — пейзажем и незабываемым кахетинским застольем, и —

все, что творилось в этом длинном дне,
ворочается в поисках покоя,
слагается в согласие скупое,
чтобы потом всю жизнь являться мне.

Михаил Поздняев, лет десять назад восхитивший ценителей поэзии своими «Одой кúхонной полке» и «Царскосельским рисованием», сопровождал стихи, предназначенные для нашего журнала, такой припиской: «... Был бы очень рад, если бы и эти строки оказались освящены «Вещим знаком», подобно множеству других, впервые опубликованных на Иверской земле. Мои связи с культурой Грузии нерегулярны и скорее заочны, хотя в 1979 и в 1980 годах я бывал в Тбилиси и Пицунде. В пору службы моей на радио посчастливилось готовить несколько передач — о Леонидзе, Чиковани, Галактионе, «голубороговцах». Да еще часовая передача к юбилею Ираклия Абашидзе, которую записывали у него дома. Вот, собственно, и все. Остальное — из области «застольной»: я имею в виду не пиры, но чтение...» Не буду здесь предвосхищать ни строф Михаила Поздняева, ни сильнейшего впечатления, которое они, я уверен, произведут на читателя, приведу лишь строки, посвященные им самому феномену русско-грузинской духовной взаимности:

Камни Грузии! В зимние ночи,
ах, пошто вы мне застите очи,
печень клібете, в пленках ушных,
как по кровельной жести, гремите.
Что во мне вам, Армази, Гелати
и Атени в морщинах сплошных?
Значит, есть между нами и вами
то, чего ни умом, ни словами
не понять, не объять, не обжать...

Москвич Михаил Шор, обыгрывая «маяковское» название симоновской антологии — «Если пелось про это», также устремляет свою метафорическую формулу в сторону «почвы и судьбы»:



Смешно пытаться что-то говорить,
когда и сто, и двести лет — «про это».
Здесь надобно не просто «полюбить»,
не гостем быть, да и не быть поэтом —
срастись, спаяться с этими людьми,
самой землею стать, чтоб величаво
ступали по тебе мегрелы, пшавы,
бросая в грудь твою зерно судьбы...

Здесь можно было бы сказать о некоторой «скорописи» в поэтической воплощении мысли, но подкупают тут искренность и тихоновский отзвук («мне в этом крае все знакомо, как будто я родился здесь»). К тому же у Михаила Шора были верные проводники в духовные дали и зримые рубежи этого края — и Нита Тициановна Табидзе, и прекрасный грузинский поэт Тедо Бекишвили (стихи которого он, к тому же, переводит), и друг жизни Наталья Генина — уже давно не гость Грузии и даже «старожил» «Вещего знака». Ее стихи, кстати, тоже представлены в этом номере.

Анатолий Ларионов из Керчи пишет нам: «В 1982 году я побывал в Боржоми и Тбилиси, где имел счастье познакомиться с грузинской художницей Марией Келаптаришвили. Недавно ей исполнилось 75 лет.. Я не смог поздравить ее лично, но я написал несколько стихотворений под общим заглавием «Фрагменты памяти», которые и посвящаю этой замечательной женщине. Другие стихи написаны в разное время..» Кстати, стихи Ларионова написаны мастерски, легко и свободно, порою не без добровольной оглядки на «грузинские» стихи Пастернака середины тридцатых годов. И они естественно и желанно ложатся под сень «Вещего знака».

Анна Бердичевская родилась в Соликамске, многие годы жила в Перми, ныне живет и работает в Тбилиси. По образованию она математик, по профессии — журналист, по призванию — поэт. Это уж несомненно. Она лирик, и душа ее жадно распахнута навстречу новым впечатлениям, привязанностям, опыту.. Еще идет переключка давешнего с нынешним, да она и не умолкнет, эта переключка, меняя лишь тон, но новое — от Бакуриани до Тбилиси, от Кохты до Мтквари, от инструктора по лыжам Тваури до драматурга Котетишвили — уже властно заселило ее стихи, добрососедствуя с памятью о хореографе Бурханове и образами любимых картин Пикассо. А часто все это пронизано резкой болью личной драмы, разлуки, разрыва с недавним прошлым.

В Тифлисе туманно, туманно, туманно.

Зеленая Мтквари

с моста не видна,

И в этом тумане мне слышится:

Анна!

Но некому звать меня, я здесь одна.

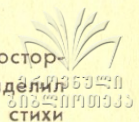


Есть кому звать. И уже не одна. Она в этом убедилась. И «надежда на чудо», которую вселила «пронзившая туман» шарманка, — начала сбываться. Это новое состояние уже поймано в «Двойных рамках», завершающих подборку Анны Бердичевской.

Сергей Бирюков живет в Тамбове. Кроме давнего интереса к грузинской поэзии, привела его к нам и дружба с грузинским поэтом, работником газеты «Ахалгазрда комунисти» Лашей Гахария, стихи которого он переводил и публиковал в Тамбове. Говорит за себя и стихотворное посвящение Сосо Касрадзе — руководителю ансамбля «Оровела». Стихи Сергея Бирюкова, как он сам пишет, «навеваны грузинскими впечатлениями... во время приездов в Тбилиси».

А вот, если помнит читатель, в «Вещем знаке» 1981 года мы поместили присланное нам нашим старым другом Григорием Левиным (сколько поэтов обязаны ему не только как наставнику при первых своих робких шагах, но и дальше — его помощи и рекомендациям при публикации стихов), да, присланное Григорием Левиным стихотворение харьковчанина Марка Богославского. Мы и в этом номере печатаем его стихи. Кстати, и знакомством с Натальей Гениной мы были обязаны в свое время Григорию Левиному. На этот раз, присылая нам стихи своих подопечных, он коротко пишет о них: «Вадим Попов — участник Великой Отечественной войны. Он родился в Грузии и на всю жизнь сохранил к ней любовь... Михаил Бриф живет на Украине, в г. Херсоне. Никогда лично Грузию не видел. И все же она вошла в его душевную биографию...» Остальное — и главное — пусть скажут сами стихи, — добавим мы.

Наталья Небылицкая — сценарист и прозаик, член Союза кинематографистов; за 20 лет работы по ее сценариям снято более 50 фильмов, главным образом документальных и научно-популярных; некоторые из них удостоены высших наград на международных кинофестивалях. Все это не гарантирует, конечно, и поэтического успеха, но стихи не отпускают ее, не дают покоя, а крепнущая связь с Грузией еще больше подогревает охватывшую ее страсть. Мы сочли возможным отобрать для журнала несколько стихотворений Натальи Небылицкой — искренних, про-



низанных подлинным чувством, с налетом романтической восторженности; но по конкретной достоверности деталей я бы выделил ее стихотворение из цикла «Детство». Публикуем мы и стихи талантливого артиста Тбилисского театра им. Грибоедова Волемира Грузца. Стихи его задушевные и картинные. Не раз выступал перед тбилисской аудиторией с чтением своих стихов воронежец Валерий Исаянц. Его связывает давняя дружба с Анастасией Ивановой Цветаевой — рьяной ценительницей его таланта, рекомендовавшей нам его стихи еще тогда, когда сама она публиковала в «Литературной Грузии» некоторые главы из известных ныне и неоднократно переиздаваемых своих «Воспоминаний». Валерий Исаянц — тонкий лирик, поэт большой культуры, которая, кстати, не довлеет над его стихом, а всегда органически пронизывает его духовно напряженную, но всегда свободно свершающуюся поэтическую речь. У него одинаково сильны и лирический монолог, и поэтическое описание.

Впервые выступает у нас со своей «Элегией» Светлан Семеновна — известный таллинский поэт, заведующий отделом поэзии журнала «Таллин» — эстонского собрата «Литературной Грузии». С Грузией у него сравнительно недавно наладились и непосредственные связи — он приезжал на одно из собеседований, проводимых Главной редакционной коллегией по художественному переводу и литературным взаимосвязям, выступал в квартирномузее Николоза Бараташвили. Перенимая наш опыт, он привлек к сотрудничеству в «Таллине» открытых ему «Литературной Грузией» поэтов — Яна Гольцмана, Светлану Кекову, Николая Кононова. В свою очередь, он предложил нам стихи и переводческие услуги старейшего русского поэта из Таллина — Сергея Владимировича Петрова. С. Петров, владеющий несколькими языками, известен как переводчик Гете, Гейне, Рильке, Бодлера, Верлена, Малларме, Валери, Бернса, По, а также эстонских и других прибалтийских поэтов. Мы публикуем несколько стихотворений С. В. Петрова, отмеченных высоким мастерством и тонкой поэтической, духовной культурой.

Мы упомянули выше наших саратовских друзей — Светлану Кекову и Николая Кононова, хорошо знакомых читателю уже по двум предыдущим подборкам «Вещего знака». С тех пор Кононов стал ленинградцем. Грузинский мотив в их творчестве не ослабевает, их новые (не только «грузинские») стихи широко представлены в этом номере вместе со стихами еще одного «познавшего Грузию», саратовца Владимира Морозова. Все они начинали с заочного, хотя чрезвычайно глубокого, с самого начала поразившего нас, постижения Грузии. Но читатель уже из прошлой нашей

вступительной статьи знает, что Николай Кононов успел побывать в Грузии, закрепив и углубив запас своих впечатлений. Ныне такую же дань своей духовной и душевной тяге к Грузии отдали Светлана Кекова и Владимир Морозов — их пребывание в Тбилиси было непродолжительным, но насыщенным для дружелюбного всепроникающего взора истинно одаренных поэтов. Они — все трое — находятся сейчас на распутье. В разной степени и на разной дистанции от цели им предстоит выход из относительно умозрительной замкнутости на просторы трижды благословенной конкретности. В какой-то мере этому может способствовать «стыковка» с Грузией. Ведь, скажем, для Морозова уже не из книг должен возникнуть тот же образ Грузии, а она сама раскрывается пред ним, словно книга. Я воспользовался сравнением из его же, в Тбилиси написанного, великолепного стихотворения:

...Но вот ночная Грузия раскрылась, словно книга,
и город странный замерцал страницей наугад...

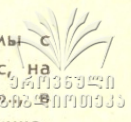
И Светлана Кекова немногословна в выражении почерпнутого уже из грузинской очевидной яви чувства:

О воздух Тбилиси, спасибо тебе за труды,
Я б тоже жила в бесконечной твоей круговерти...

А Николай Кононов пишет нам уже из Ленинграда: «Целый год прошел, как я посетил Ваши благословенные края — и дышу до сих пор. Пишу и чувствую что-то иное, может быть, жизнь люблю сильнее. Вот у Кушнера в новой книге:

...Меня любовь держала — обвалилась.
Всех тянет вниз, так не сдавайся ты хоть,
Ах, Грузия, ты в этой жизни — милость...

Боюсь писать об этом, боюсь сбиться на банальность, но эти связующие нити, эти тяжи, эти тросы, связывающие, исцеляющие...» Самое же удивительное то, что эти нити протянулись и завязались, как мы знаем, еще задолго до того, как Кононов, Кекова и Морозов — по следу своих же стихов — добрались до Тбилиси, до Мтацминды, до Мцхета и Светицховели. И знаем это мы по стихам, по прекрасным стихам, большей частью вошедшим в упомянутую выше антологию избранных стихов о Грузии, принадлежащим перу русских советских поэтов. А вот что писал от своего и Кековой имени Николай Кононов еще тогда, в заочную пору



своей влюбленности в Грузию: «Смотрим грузинские фильмы с замиранием сердца. Видели «Пловца»... откуда этот Ренессанс, на него надо столько душевной щедрости... А «Древо желания», в таких вещах перо бессильно. Я мысленно гуляю вокруг Светицховели, щупаю кладку одиннадцатого века, поднимаю лицо к куполу храма в Джвари, пересекаю Грузию с запада на восток, от Мегрелии до Кахети, и сами слова вызывают замирание сердца, отделяются от названного и возвращаются в уста Адама, а он непременно грузин. Говорю с Вами, с поэтами, штурмую крутые тбилисские улицы; в общем, «мне Тифлис горбатый снится». Отчего русских поэтов всегда тянуло в Сакартвело, а не в какой-нибудь иной край? И я, чтобы примкнуть к сонму великих, коплю деньги и летом... (загадывать нельзя, чтобы не сглазить)...» Мечта и планы эти, к счастью, сбылись.

Продолжает выразительно звучать грузинская тема как в стихах наших старых друзей — Давида Самойлова, Владимира Леонovichа, Марины Кудимовой, Роберта Винонена, Ильи Дадашидзе, Виктора Широкова, Валерия Краско, так и у сравнительно недавних, но вполне желанных гостей «Вещего знака» — Николая Еремина; Юрия Юрченко, Владимира Еременко (недавнего лауреата Дней Маяковского в Кутаиси), Ларисы Фоменко, Гелия Аронова, Сергея Гандлевского; уже у нас, в Тбилиси, создан новый талантливый цикл стихов Наталии Соколовской. Нам не раз приходилось говорить о большинстве из этих поэтов. Исходя из конкретной данности предлагаемых в этом номере читателю стихов, не скроем своего и на этот раз восхищения мудрой сердечностью Давида Самойлова, глубиной бурения Владимиром Леонovichем грузинской почвы, с которой он так сроднился, мощью голоса (и, конечно, согласного биения мысли и сердца, направляющих этот голос) Марины Кудимовой, тонким артистизмом и пленительным лиризмом Валерия Краско, лирической раскованностью Юрия Юрченко и, наоборот, сосредоточенностью Владимира Еременко, неизменным академизмом Ильи Дадашидзе или, как точнее и емче сказала о нем Белла Ахмадулина, — «изяществом внутренней осанки, совершенным отсутствием всего, что развязно, суетно, аляповато, склонностью просвещенного ума учиться у тех, кто прежде и лучше нас». С Ларисой Фоменко читатель уже знаком по прошлогоднему «Вещему знаку». Я здесь не назвал автора одного замечательного стихотворения — Галину Медзмаришвили, которую читатель, возможно, помнит как автора ярких и содержательных журналистских очерков и статей, публиковавшихся в основном в «Вечернем Тбилиси» (из последних — о встрече с Анастасией Цветаевой). Сейчас она живет в Москве, не прерывая литератур-

ных, а тем более родственных и дружеских связей с Тбилиси. Анна Фуникова уже печаталась в «Литературной Грузии» как переводчица, стихи ее публиковались в «Ленинском знамени» и «Молодежи Грузии», не раз выступала по радио и телевидению с чтением своих стихов. А по профессии она физик. Мы даем небольшую подборку ее стихов. Луара Стасенко — филолог, педагог, живет и преподает в Цхакая. Ее лирические раздумья нашли себе русло верлибра. Ей нужен был этот дебют, чтобы обрести уверенность, а право на него она уже имеет. Михаил Ромм — москвич. Его лирические миниатюры привлекают чистотой и прозрачной ясностью как самой поэтической мысли, так и ее выражения. И Стасенко и Ромм молоды, и как бы ни сложилась их дальнейшая литературная судьба, сила, диктующая им стихи, не может уйти бесследно.

То же самое можно сказать о Гале Парцвания и Саше Цыбулевском, тем более, что речь тут идет о стихотворцах совсем юных — потому я и имена их привожу в «ученическом», что ли, варианте; они старшеклассники, им по пятнадцать-шестнадцать лет. Галя Парцвания живет и учится в Батуми. Желание писать опережает порою зрелость и завершенность форм ее самовыражения, это естественно, но рассыпанные в ее тетради блестящие удач и находок дают основание с надеждой следить за ее ростом и созреванием. Публикуемые нами ее стихи просто хороши, а такая умная и тонко высказанная самооценка еще больше укрепляет нашу в нее веру:

...Не удивляйтесь, я грущу,
Мосты воздушные мощу
И усложняю истины простые.

Я уверен, что все подлинные ценители поэзии (и не только поэзии), все преданные читатели «Литературной Грузии», знакомые с русской литературой, рожденной за последнюю четверть века на грузинской почве, не могли не взволноваться при имени Саши Цыбулевского. Да, это сын Александра Семеновича Цыбулевского, нашего незабываемого Шуры Цыбулевского, создателя «Владельца шарманки» и «Что сторожат ночные сторожа», волшебные творения которого уже и посмертно украшали не раз заветные страницы «Вещего знака». Не прошло и десяти лет, как он покинул нас, и вот стихи сына публикуются в родном и «стартовом» для отца журнале.

Как было бы понятно и даже естественно, если бы в стихах Цыбулевского-младшего чувствовалось влияние отцовской поэзии!

Но юный поэт начинает свое приближение к чистому листу бумаги без помощи ближайших и родственных ему сил, без поводырей и посредников, если не говорить об общей поэтической почве русской литературы. Никаких влияний, поразительная чистота и органичность самовыражения. Никакой позы, рисовки и наигрыша, тоже вполне допустимых на пороге дебюта. А симптомы боли, грусти, печали, недовольства собою, чувства тоски и одиночества, охватывающие его порою, — все это предельно искренне и является точным отражением натуры, состояния, характера юноши на этом этапе его саморазвития и самоопределения. Конечно, лирический монолог, призванный обнажить ранние раны и обиды, а то и чувство вины не только за свое несовершенство и за то, «что жизнь моя проходит странно и неумело, вкривь и вкось», но и за «ложь» и «зло», живущие еще на свете в противовес «добру»; этот, повторяю, монолог выглядит порою несколько отвлеченным и даже затянувшимся на наш слух. Но исповедь эта принципиально важна как залог изначального присутствия в юном поэте едва ли не важнейшего качества и свидетельства творческого дара — чувства ответственности и даже вины «за все на свете», «за сотни судеб зверей, растений и людей». Конечно, к нему придут и радость, и улыбка, и даже ликование, а главное, опыт и дар постижения мира в его осязаемой многогранности, конкретной многоликости, неоднозначной противоречивости, и, может быть, тогда и потянет Сашу Цыбулевского к новому погружению в мир Александра Цыбулевского-старшего — не для того, чтобы воспользоваться его приемами, а чтобы найти себе верного друга и надежного товарища по вкусу к жизни. (Первые проблески этого заметны в стихах цикла «Из седьмой тетради»). Это не будет значить, что пройдет то, рано пробудившееся, чувство «вины». Оно станет лишь более осмысленным, выстраданным, обогащенным многообразием других чувств, но оно будет, как всегда есть и было оно у поэтов истинных, особенно в их «звездный час». Вспомним хотя бы с неизбежностью всплывающие из чуть ли не четвертьвековой дали евтушенковские строки, просто просящиеся к слову:

Предощущение стиха
у настоящего поэта
есть ощущение греха,
что совершен когда-то, где-то...
Пусть совершен тот грех не им —
себя считает он повинным,
настолько с племенем земным
он связан чувством пуповины...

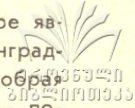
...Потери мира и войны,
любая сломанная ветка
в нем вырастают до вины —
его вины, не просто века.



А пока всмотримся с надеждой и упованием (и, признаться, не без любования) в лирического героя, у которого хватает остроты ума, силы духа и, прямо скажем, умения — сказать о себе:

Все началось так просто и умело,
Шел теплый дождь, а он в окно глядел.
И медленное это полудело
Преодолело временной предел...
...Как одинок герой мой полузрелый.
Он видит неожиданную высь
И в то же время медленно и смело
Дождинкой падает на землю, вниз.

Удивили и обрадовали нас также стихи юноши из Гагра — Дмитрия Лакербая. Он недавно окончил гагринскую среднюю школу, поступил в Ивановский пединститут, ныне призван на военную службу. Стихи пишет с 1980 года — с 15 лет. В нашей подборке есть стихи, над которыми Дмитрий работал в промежутке между 1981—84 годами. А радует нас не только отточенность формы его стихов, но и определенность, даже порою четкость почерка молодого поэта. По скудным сведениям, имеющимся у нас, он «фанатичен в работе над стихами. Любимые поэты: Хлебников, А. К. Толстой, Фет, Хафиз». Но не следует искать их прямого влияния в стихах Дмитрия Лакербая. Скорее кое-где; в таких, например, стихах, как «Семнадцать лет» и «Гроза», заметны отголоски музыки автора «Определения поэзии» и в целом «Сестры моей — жизни». Говоря об определенности почерка, мы пока не можем с такой же уверенностью говорить о гамме настроений и состояний, призванных передать более глубокий пласт душевных переживаний, а тем более духовных исканий автора. Это еще впереди. Мы не сомневаемся, что круг жизненных раздумий и даже наблюдений поэта шире, чем это пока воплотилось в стихах. Но всему свой черед. Главное — органичность, искренность, естественность поэтического излияния (пусть иногда с примесью грусти) и благородство, чистота, незамутненность душевного лада (а порою даже и разлада!) человека, который явно рожден, чтобы мыслить и чувствовать стихами. Эти последние черты роднят Дмитрия Лакербая с Сашей Цыбулевским и Галей Парцвания. В этом нравственном запасе — залог их будущих достижений.



И еще одно, правда, пока еще не собственно поэтическое явление, а скорее проявление поэтической природы — стихи ленинградской девятиклассницы Марины Каган. Пример того, как недобра судьба и доброе искусство художника — почти ровесника — потрясли юную душу и призвали ее выразиться стихотворной речью, пусть еще неумелой и шаткой, но обладающей достоинствами человеческого документа. Стихи ее посвящены безвременно погибшему юному художнику Дато Крацашвили, произведения которого экспонировались в Ленинграде. Прозаическое вступление самой Марины к своим стихам, написанное с гораздо большей уверенностью и обладающее превосходящими стихи достоинствами, — своего рода обещание будущего роста совсем еще юного автора.

У каждого, даже малого «эпоса» — в том числе и критического! — есть право на лирические отступления. Так будем же считать этот наш разговор о поэтической молодежи таким «лирическим отступлением» в нашем общем критическом повествовании, охватывающем самый разнообразный материал творчества поэтов, как давно и хорошо читателю знакомых, так и недавно с нами подружившихся, но уже завоевавших симпатии и доверие читателей, а также авторов новых, впервые перешагнувших порог «Вещего знака» и нашего журнала вообще.

Но Сергея Гандлевского мы все сразу же выделили и крепко-накрепко запомнили даже по одному напечатанному у нас в прошлом году стихотворению «Ливень лил в Батуми», хотя о нем довольно скромно было сказано тогда нами, что «радует оно зоркостью поэтического глаза и подлинностью настроения, в стихе выраженного». Новая, относительно большая подборка стихов Сергея Гандлевского дает все основания говорить о нем как о поэте явно незаурядном. Это как раз та непростая, выстраданная определенность духовного мира, нравственного кодекса, да и зоркость, чуткость, пронизательность не только глаза, но и души, сердца, ума поэта, что не так-то уж часто встречается. Надо сказать и о столь же редкой свободе стихоизъяснения, поэтического речения, мудрого артистизма с горьковатой иронией, о музыке добра и любви, но без малейшего призвука сентиментальности, что — вместе взятое — вполне оправдывает угадываемое между строк, но в прямом влиянии нигде не проявленное пристрастие поэта к поэзии Пастернака и Мандельштама. А мировосприятие поэта, вернее, нравственный урок, который ему преподала «жизнь в огрехах и ошибках, уже вчерашняя на треть», может быть передано, отчасти хотя бы, такими его строками:

В конце концов не для того ли
Мы знаем творческую власть,
Чтобы хлебнуть добра и боли,
Отгревать и не проклясть.



Вот так и обретается, видимо, внутреннее право, оглянувшись на прожитое и содеянное, сказать о своей жизни:

Она была не суетлива,
Не жестока, не холодна.
Всего скорее справедлива
Была, наверное, она.

Дай бог, чтобы каждый, даже отмеченный талантом поэт заслужил право так думать о себе и о своем труде. Это и есть, как видно, искусство при свете совести. Именно к этому вопросу из вопросов вернемся мы, когда, в завершение нашего поэтического обзора, перелистаем стихи Бориса Слуцкого и Беллы Ахмадулиной.

А пока продолжим краткое предварительное знакомство с поэтическим материалом номера.

Сфера и, так сказать, «география» поэтического притяжения «Вещего знака» на этот раз расширились также в сторону Волгограда и Пятигорска. Волгоградец Александр Пчелинцев в Грузии никогда не бывал, но воспринял глубокий интерес и любовь к нашему краю из русской классической литературы, а также, как он пишет, «пристально всматривался в стихи о Грузии Мандельштама, Заболоцкого, Пастернака, Ахмадулиной и увидел ту же любовь и ту же бескорыстную признательность этой стране». И он продолжает: «Я попытался выразить свои чувства в цикле стихов о Грузии... Это цикл, именно цикл с развивающейся темой, с попыткой стилизации и осмысления истоков красоты. Получилось, может быть, слишком общо, но тема Грузии стала для меня благодатной, и хочется непременно к ней возвращаться. Основой этого цикла в известном смысле явилась грузинская хоровая музыка, знание кое-каких деталей быта и мое восприятие ряда грузинских слов и названий мест и памятников. Это, конечно, мало, но мое желание оказалось сильнее всех препятствий...» Добавим к этому, что и одного, даже самого сильного «желания» было бы мало для преодоления таких «препятствий», но тут на выручку пришли поэтический талант и культура — кормилица таланта. И талант любви, умеющей преодолевать даже барьер заочности:

Я люблю тебя понаслышке,
по признаньям других в любви.



Совершенно особый, резко очерченный поэтический мир предстает перед нами в стихах Георгия Власенко из Пятигорска. Знакомством с объемистой рукописью его стихов я обязан известному музыковеду Евгению Мачавариани. Мы все помним его блистательные телекомментарии к современной музыке специфических жанров. Есть своеобразное внутреннее родство между некоторыми из этих жанров и эксцентричной, порою гротескной, парадоксальной по образному строю поэзией Власенко. Особенно это относится к его верлибрам, которые на этот раз мы не смогли отобрать для наших целей, но означенные признаки поэтики которых видны и в предлагаемых читателю стихах. С Грузией они связаны опосредствованно—через оригинальные посвящения поэтам Белле Ахмадулиной и Юнне Мориц, с опорой на их связанные с Грузией творения. Но акцентируется здесь не это, а образ поэта и художника. Думаю, не стоит предупреждать грамотного читателя, что в таких стихах не следует искать внешнего портретного сходства или принимать каждую метафору за реалистическую достоверность штриха или высказывания..

Москвичка Ольга Одинцова: «Стихи я начала писать давно. Несколько раз публиковалась. Сейчас мне 21 год, учусь на V курсе Московского института управления, работаю инженером. Самая большая мечта — свободно овладеть грузинским языком и поступить на переводческое отделение Литературного института. Начав изучать грузинский язык, побывав в Тбилиси и Батуми, Кутаиси и Сухуми, я поняла, что с каждым приездом все ближе и все роднее становится мне Грузия. И по-особому звучат строки Тициана Табидзе, посвященные Тбилиси: «О город мой, я тайн твоих угадчик и сторож твой...», когда утренние лучи ложатся на величественную фигуру Вахтанга, а с высокого берега Куры открывается неповторимая панорама просыпающегося города. И еще кажется, что когда-то, очень давно, я уже была здесь и нагретый бульжник старых улочек хранит еще следы моих ступней... Может быть, это звучит слишком красиво и выпренне. Но все это, батона, я пишу от чистого сердца...» Заметим, что ни «красивости», ни «выспренности» в стихах Ольги Одинцовой нет.

Борис Викторов — автор ряда поэтических сборников, родился в Уфе, жил в Сибири и Молдавии, ныне — москвич. Он пишет нам: «Это вообще мое первое письмо в Грузию — страну, поэзию которой люблю. Год (или полтора года) назад, после про-

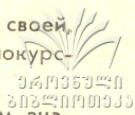
смотра замечательного фильма «Мольба», ошеломленный, я заново перечитал «Алуду Кетелаури» и все, что было под рукой из грузинской поэзии в переводах Заболоцкого, Пастернака, Цветаевой, Тарковского, Межирова, Евтушенко и т. д. Мне не хотелось расставаться с этим миром, я не расставался с альбомом Нико Пиросмани... Тогда я написал цикл «грузинских» стихотворений — «Нико Пиросмани». Эта вещь целый год отлеживалась...» Она действительно выполнена уверенной рукой, и зоркий глаз поэта гармонирует здесь с чутким его слухом, чтобы сообща служить любви, постижению, сопричастию.

...Нико Пиросмани. Воспользуемся этим легендарным именем, чтобы перейти к совершенно иному кругу поэтов, давно и хорошо читателю знакомых, а то и горячо им любимых.

Стихами о Пиросмани открывается у нас большая подборка стихотворений разных лет Бориса Слуцкого. С Грузией он связан преимущественно как переводчик. Известны, например, его переводы из Георгия Леонидзе и Реваза Маргиани. Стихотворное посвящение Нико — едва ли не единственное «грузинское» стихотворение Слуцкого. Но вот что пишет редактору «Литературной Грузии» ближайший друг Бориса Слуцкого Юрий Болдырев, приславший нам его стихи: «Те, кто любят поэзию Бориса Слуцкого, полагаю, по сей день помнят две его публикации в «Литературной Грузии» (№ 1 за 1961 г. и № 6 за 1962 г.), особенно вторую, где было напечатано стихотворение «Прозаики», не появлявшееся более нигде... С тех пор стихи Б. Слуцкого в журнале не появлялись, но однажды было напечатано великолепное и любовное эссе Владимира Леоновича о своем поэтическом «дядьке», показавшее, во всяком случае мне, что грузины чтут больших поэтов вне зависимости от того, пишут эти поэты о Грузии или нет (вернее, не показавшее, а еще раз подтвердившее). И я все чаще подумывал о том, чтобы послать именно в «Литературную Грузию» часть его неопубликованных стихов (в течение длящейся около семи лет болезни Бориса Слуцкого я волею судьбы ведаю его литературным хозяйством). Окончательно подтолкнул к этому поступку меня Александр Петрович Межиров, говоривший, в частности, и о Вас лично хорошие и полные благодарности слова...»

Разве не чудо (или чудесное совпадение, как угодно), что в нынешней подборке Бориса Слуцкого есть и стихи, написанные примерно тогда, на рубеже или в начале шестидесятых, — сорокалетним поэтом, о чем идет прямой разговор и в тех, и в этих стихах?! («И сорок лет, те, что прошли, и те года, что еще придут, летят поземкой вдоль земли, покуда бредешь, ветерком продут» — это из «Литературной Грузии» 1961 года и — «Вот иду я —

сорокалетний, средний, может быть, — нижесредний по своей, так сказать, красе...» или «Сорок сороков сорокалетних однокурсниц и соучениц» — в теперешней публикации).



А эссе Владимира Леоновича было напечатано в «Вещем знаке» 1981 года в № 8 «Литературной Грузии» и сопровождается при этом словами, которые я не постесняюсь повторить здесь, ибо смысл их в равной мере может быть отнесен и к материалу нынешнего номера: «Хоть у Владимира Леоновича речь идет об «Одном уроке в школе Бориса Слуцкого» (так и назван очерк), этот урок может послужить ключом почти ко всему, что содержит августовский номер журнала. В качестве превосходящего эту суть примера приведу лишь одну мысль-фразу из очерка: «Определенность Слуцкого имеет одно счастливое свойство: она опирается на доброту дня — не на злобу его...» Дальше у Леоновича было: «Борис Абрамович это нам и растолковывает, называя так одну из книг: «ДОБРОТА ДНЯ». Мне хочется привести еще несколько строчек из Леоновича о Слуцком — так они точны и так просятся стать напутствием к нынешней подборке замечательного советского поэта. Например: «Большой, сильный, здоровый, добрый и смелый человек написал множество стихов — о людях, животных, деревьях. И едва ли не каждое из этого огромного множества — так или иначе драма... Человек огромной и необходимо-трагической жажды — ясности. И справедливости. Человек прямой речи...»

Не эти ли черты натуры объясняют избирательный интерес Слуцкого к Пиросмани:

Не проявлял в искусстве мягкотелость.
Грузин хороший Пиросмани был.

Такие же «определенность», «доброта дня» и «жажда ясности» лежат в основе тяги Бориса Слуцкого к личности и поэзии Лео-нидзе, это объединяет его с Михаилом Лукониным, и в пристрастии к стихам Реваза Маргиани, которого оба увлеченно переводили. Кстати, в той же «Литературной Грузии» 1961 года стихи Слуцкого соседствовали с его же переводами из Маргиани; и при всей резкой несхожести этих поэтов, не мешающей, а способствующей их нравственному родству, под такими вот маргианиевскими строками вполне мог бы подписаться переведший их Слуцкий:

Жизнелюбцы всегда ненавидят беду.
Не люблю я печаль.
И с тоской не в ладу.

Знаю цену тоске и печали —
Пули волосы мне опаляли.



Искусство
ЭТО НЕ ПОВНА

Но «ненавидеть беду» и «не любить печаль» — чит скрывается и уходит от них, тем более, если беда и печаль обрушились на ближнего твоего. Отвести от него беду или быть с ним вместе в беде, как и в счастье — вот истинный удел поэта-человека. Об этом и идет речь почти во всех публикуемых нами стихах Бориса Слуцкого.

Не желаю в беде и в счастье,
не хочу ни в еде, ни в труде
забирать сверх положенной части
никогда.

Никак.

Нигде.

Более того, он готов даже на такую крайнюю — хоть и метафорически выраженную — роль в жизни своего ближнего — друга ли, народа ли —

Завяжи меня узелком на платке.
Подержи меня в крепкой руке,
Положи меня в темь, в тишину и тень,
на худой конец и про черный день.
Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба.
Я сгожусь судьбине, а не судьбе.
Покуда обильны твои хлеба,
Зачем я тебе?

Дело, разумеется, не в метафорическом обличье, а в сути. И стихи Бориса Слуцкого нужны нам всегда, хотя бы в силу высшего назначения искусства — внести свою благородную лепту в усилия, направленные как раз на то, чтобы не наступили «худой конец» и «черный день».

Если есть два поэта, диаметрально противоположные друг другу по образно-поэтическому мышлению, по стиху, по плоти стиха — то это, конечно же, соседствующие у нас в «Вещем знаке» Борис Слуцкий и Белла Ахмадулина. И тем знаменательнее пересечение их путей в понимании и осмыслении этого высшего предназначения искусства, самой миссии поэта в «прекрасном и яростном мире».

И вот, вместе с новыми стихами Беллы Ахмадулиной, мы пред-

лагаем читателю вслушаться и в ее прямые высказывания о своей работе, о доле и уделе поэта, и не только потому, что в этих интервью, взятых у нее в Тбилиси и в Таллине журналистами Эстонии, громко звучит слово о Грузии, а потому, что в них выражено ее нравственное кредо, то, о чем нас заставил задуматься и Борис Слуцкий. Вот несколько слов из одного такого ее собеседования: «Никто, как поэт, не умеет так радоваться любому проявлению жизни, любому знаку всего живого на земле. Но у поэта разверстая душа, вбирающая благородное страдание, вбирающая боль мира, за который поэт ответствен...» И ниже: «Судьба и творчество — неразделимы. Сам дар, само призвание как бы изначально закладывает в художнике сюжет его судьбы. Но это, конечно, не значит, что поэт может быть совершенно безогляден в своих поступках, полагаясь только на путеводную звезду своего таланта. За душой, за совестью своей, за честностью нужно приглядывать, нужно уметь делать выбор и нужно уметь решаться...» И в ответ на вопрос об ее новой, только что вышедшей книге «Тайна», о том, что с ней связаны, бесспорно, ее размышления о месте поэта в сегодняшнем мире: «Она писалась в уединении. При Оке, при небе, при больших полях... Но в этом уединении не было желаний отгородиться от людей. Нет, я писала, я старалась для вас! И важно было проповедовать доброту, милость ко всему живому, не поучать других, но брать на себя их печали. Это необходимо сегодня в тревожном нашем мире...»

Проповедь добра (сутью и смыслом стихов, а не поучениями, конечно), милость ко всему живому, ответственность за мир и его тревоги — всем этим пронизаны и новые стихи все длящегося «тарусского цикла» Беллы Ахмадулиной и предваряющее его стихотворное посвящение грузинскому побратиму (об эшерском задушевном с ним сободрствовании). А «тарусский цикл» на этот раз открывается лирическим дарственным обращением к любимому человеку, другу и спутнику жизни, являя такую классическую, я бы сказал, ясность и простоту поэтического изъяснения, что хочется невольно повторить про себя стихотворное заклинание Пастернака — «в родстве со всем, что есть, уверясь, и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту...» Блики этой «ереси» светятся и в февральских стихах восемьдесят четвертого года, подхватывающих тарусский мотив года предыдущего; но, главное, опять-таки, в целом, это благословенное исконно дарованное единение уменья «радоваться любому проявлению жизни» и способности «брать на себя печали» других, «вбирать благородное страдание» и «боль мира».

Есть в «тарусских стихах» строка, которую можно было бы вынести «за скобки» и воспринять как своеобразный ключ к звучанию всего цикла о «Тарусе и ее предместьях» —

Экспериментальное
исследование
языка

В местах печальных и прелестных...

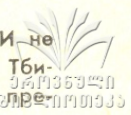
А стихи потому и пишутся, чтобы способствовать торжеству гармонии в этом «двучлене», чтобы повсеместно с «прелестью» сочетались если не радость и счастье, то покой и воля, а не «печаль», «боль» и «страдание». Ведь и слова поэта из интервью, приведенные нами, о душе поэта, рожденной радоваться жизни, но вбирающей боль мира, за который он ответствен, прозвучали в ответ на вопрос: «Вы помните, Белла Ахатовна, слова Цветаевой о ...чисто поэтовой несчастью — красоте, дару вопреки? Ведь речь идет не об ...умышленной устремленности к трагическому, не об лелеянии своих невзгод?» Ответ поэта, как мы знаем, был исчерпывающим — и в прозе беседы, и в музыке стихов в Тарусе, о «местах печальных и прелестных...»

А в одном из стихотворений об этих местах хоть и не высказывался вслух, но как бы загадывается заветное имя той, вслед за которой и она могла бы произнести — да и произнесла уже — «мой Пушкин» и которой до этого тоже были адресованы или посвящены многие ее, в том числе и тарусские, строки:

Лишь рассветет — приокской простоте
 Triton заблудший попадет в сети.
 След раковины в гробовой плите
 уводит мысль куда-то дальше смерти.
 Хоть здесь растет — нездешнею тоской
 клонима многознающая ива.
 Но этих мест владычицы морской
 на этот раз не назову я имя.

И вот теперь со своими новыми стихами Белла Ахмадулина вновь решила выступить на страницах «Литературной Грузии», того же «Вещего знака», где было впервые опубликовано больше половины стихотворений, составивших и ее последний сборник «Тайна». «Это мой город», — сказала Белла Ахмадулина таллинскому журналисту Августине Гербер. «Это замечательно, что мы встретимся в Тбилиси», — сказала она, когда мы, намечая место встречи, договорились о Тбилиси», — пишет А. Гербер в своей статье-интервью.

«Это мой город» — мог бы по праву сказать и Николай Шах-



базов — автор повести «Мальчик на фоне дерева. Деталь». И не только потому, что он — давно уже москвич — родился в Тбилиси, все молодые годы провел здесь, никогда потом не рывал связей с родным городом и до сих пор наш частый гость, но и потому, что сама его повесть посвящена тбилисскому детству автора. Я бы назвал эту повесть беллетристической сьютой, исходя из изначального французского значения понятия «беллетристика» (прекрасная литература!) и из ритмико-музыкального строя той вереницы картин, которые оживают перед нашим взором, слухом, памятью, воображением, стоит нам войти в мир этой повести. Тбилиси двадцатых-тридцатых годов с отвлечениями в разновременные пласты событий и эпизодов. Мир детей и стариков, дворики и балконы, тот самый, о котором поэтом сказано, что «он разноголос, черноволос, с Давид-горой гранича...» Не буду ничего предвосхищать и заранее высвечивать, намекну лишь, чего стоят, хотя бы возникающие в нем попутно силуэты Иосифа Гришашвили, Тициана Табидзе...

Николая Шахбазова, автора нескольких сборников мастерски написанных рассказов, читатель «Литературной Грузии» знает и по «Вещему знаку» 1981 года, где был помещен его интереснейший очерк об Илье Сельвинском с воспоминаниями о нем, в том числе о встречах с ним в Тбилиси военных лет.

«Это мой город» — так считал, так говорил и незабвенный наш друг Леонид Темин. Так бы он мог сказать уже и на вечные времена — отдавший последний свой вздох этому городу и в нем же преданный вечному покою, нашедший в нем свою последнюю обитель. Стихи Леонида Темина всегда украшали подборки «Вещего знака», его переводы из грузинской поэзии давно стали в ряд лучших и достойнейших. Еще в прошлом «Вещем знаке» он красовался своими лирическими «Прогулками». Но он был прозорлив. Считите это случайным совпадением, но в сентябрьской книжке «Литературной Грузии» за 1978 год он описал в стихах... свою кончину в Тбилиси. Стихи так и назывались — «Смерть в Тбилиси» — и в них описывалась болезнь, больница и предсмертное беспомыслие со страшным видением всеобщей гибели, но с прощальной мольбой:

Но, если возможно, то пусть я погибну — один:
Без Грузии станет вселенная много беднее...

Мы публикуем четыре стихотворения Леонида Темина, обнаруженные матерью поэта после его смерти в гостиничном номере. Они были написаны на обрывках старых рецептов, неразборчиво, торопливо, попеременно с латинскими названиями лекарств и

предписаниями врача. Литератор Камилла Коринтэли, чья мать поэта передала эти записи, разобрала и восстановила текст.

Блистательной прозой об Армении и Грузии обрадовал в свое время читателя замечательный русский прозаик Андрей Битов («Уроки Армении», «Три грузина»). Его «Грузинский альбом» — своего рода продолжение грузинских мотивов в творчестве писателя. Продолжение и, я бы сказал, инобытие, так как пластическая лепка образов и описательно-повествовательное воплощение встреч, событий и впечатлений здесь в значительной мере уступают место субъективно-ассоциативному их осмыслению и переживанию, я бы даже сказал, поэтической их трансформации. Я бы не побоялся назвать «Грузинский альбом» прозой поэта, ни в коей мере не разумея под этим какие-либо ритмико-музыкальные приемы, свойственные поэзии, даже верлибру или же так называемым стихотворениям в прозе, а имея в виду особую, вдохновенную зоркость, пронизательность, пронизывающую остроту зрения поэтического глаза, способного на «крючок» ассоциативно-метафорического видения и раздумья нанизывать богатейший улов при малом, казалось бы, исходном пространстве. А если в самой поэзии или в прозе поэтов искать родственные и сопредельные этому видению и раздумью явления, то возникнут в памяти «Мать и музыка», «Световой ливень», «Пленный дух», «Живое о живом», стихи и проза «Снов о Грузии». Андрей Битов открывает в Грузии... Грузию. Ибо это и не Грузия, воспринятая глазами грузина, и не Грузия, увиденная взором самого внимательного и доброжелательного путешественника и гостя, а обратное, возвратное излучение света, впитанного, поглощенного, вобранного всем существом поэта, именно поэта, который, будучи здесь, сейчас, не перестал быть и там, на родине, к тому же в разные времена своего существования. Отсюда волшебное переплетение и сплетение-монтаж различных кадров и нитей времени и пространства, цепочка, соединяющая не только раннее детство с еще не наступившей старостью автора, но и руставелиевскую Вардзию с пушкинским Болдино, чавчавадзевское Сагурамо с чеховской Ялтой и даже с пришвинскими уголками. И всюду, везде, во всем, вопреки и наперекор тьме ночи и злобе дня — свет, свет, говоря словами вспомнутого нами поэта, свет «непреклонного Добра, Труда, Свободы, Любви и Таланта». И Андрей Битов с такою же непреклонной убежденностью утверждает свой символ веры: «И какой бы ни был рассеянный, а свет! А свет, какой слабый ни был — о! Свет — всегда весь. И частица его есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет — он все еще доходит до нас. И мы еще есть. Ибо

куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца. Может, не заходит, а рассветает...»

И ведь вслед за закатом всегда вновь наступает рассвет. Об этом говорят ему и камни бессмертной Вардзии, и немеркнущие строки Руставели, которыми пронизан, пропитан, просквожен «Грузинский альбом» Андрея Битова. И вновь в лучах этого света играют грани строк грузинского гения в первом их русском переводе Константином Бальмонтом, возникают и звуки мелодии Афанасия Фета или сказавшего «и Моцарт в птичьем гаме». И всюду — свет, свет Грузии, свет России, свет Человечества и Человечности. «Поэты — одни и те же люди», — убежден Андрей Битов так же, как Марина Цветаева была уверена, что нет разных поэтов, а есть лишь один, вкладывающий свое перо в разные, но избранные руки.

...Чем же завершить эту нашу беседу с читателем? Может быть, опять-таки, раз уж мы упомянули Бальмонта, вариацией на традиционную тему, всегда волнующую наш журнал и наших читателей, — о поэтическом переводе? В памятном «Вещем знаке» 1981 года я вновь уделил достаточно места одному из общих аспектов этой темы. А теперь лишь протяну тут же руку за золотыми словами, вновь высказанными взыскательным мастером поэтического перевода — Беллой Ахмадулиной — в упомянутой выше беседе. После ее утверждения о том, что ничего не может быть «прекрасней способности поэта восторгаться своими собратьями, любить их, вот как дружили Борис Пастернак и Тициан Табидзе, — нам в память об этом остались не только переводы, переписка, но и нерасторжимая связь двух семей, которая жива до сих пор», и в ответ на вопрос ведущей беседу — «перевод — как одна из драгоценнейших нитей дружбы, — каким, по-вашему, он должен быть?» она сказала: «Таким, чтобы стихотворение могло существовать на другом языке, чтобы оно обольщало слух, чтобы в нем возродилась новая жизнь, умерщвленная в подстрочнике. И тут не нужно бояться потерь в точности. Музыка стиха важнее буквальных совпадений. Характерна в этом смысле судьба переводов из Галактиона Табидзе. Это самое заповедное имя в грузинской поэзии, от одного имени дух захватывает. Он весь состоит из музыки грузинской речи... Когда я взялась за эти переводы, я стремилась дать им новую музыку — русской речи. Я более всего ценю переводы, где есть живая вольготность и нет схоластики...»


Так, кстати, думали и творили свои переводы лучшие поэты и прошлых времен, и нашей советской эпохи. И сколько раз об этом нужно напоминать! Сколько раз пылали страницы нашей же

«Литературной Грузии», вступающей или вынужденной вступать в этот спор, браться за эту задачу «напоминания». Вот мы выше припомним стихи Бориса Слуцкого, опубликованные в 1961 году в нашем журнале, а там же рядом — умные, тонкие, благородные странички «из записной книжки» Михаила Луконина с поистине «вещным» заглавием — «Ощущение долга», с воспоминаниями о Галактионе и о встрече с ним, и об его похоронах, а затем с таким «заходом» в ту же область перевода:

«Грузинских поэтов переводили большие мастера — Николай Тихонов, Борис Пастернак, Николай Заболоцкий и Александр Межиров. А вот уже новое — Евтушенко представил Мачавариани, говорят, что синтаксис не тот и очень уж заметен сам переводчик... Ну и что?... Как же иначе: переводишь тогда, когда любишь, чувствуешь близость, а при этом трудно отделаться от самого себя, трудно, да и надо ли? Бороться надо не с тем, что поэт присоединяется к поэту, а с тем, что у нас бытует еще некий специфический «переводческий» стих, общедоступный, безликий и бесцветный. Вот против чего надо восставать. Если взять любого, того же Мачавариани, да изложить сквозь аэродинамическую трубу общих вкусов, — так он ничем не будет отличаться от другого поэта. А зачем тогда переводить, у нас и у самих, на русском, в готовом виде, есть такое... И знаменитые стихи Леонидзе «Мы прекраснейшим только то зовем, что созревшей силой отмечено» до самых новых стихов Чиковани в переводах Беллы Ахмадулиной — все это высокая поэзия...»

И этот наш очередной «Вещный знак» адресован тем, кто умеет внимать поэзии, внимать искусству слова —

Чтобы хлебнуть добра и боли,
Отгоревать и не проклясть.



ГРУЗИИ

Под замкнутым небом чукотских безмолвных краев,
Когда вертолет над обмерзшими сопками кружит,
Не раз, смуглоликая Грузия, солнце твое
Ко мне пробивалось сквозь долгую белую стужу.
Иль в снежном затишье таежных дремучих краев,
Сквозь пламя костров, что дымы мне под ноги стелило,
Ко мне пробиваясь, гортанная песнь «Тбилисо»
Душевным звучанием сердце мое бередила.
Когда я брела по донецким раздольным степям,
Когда я вдыхала прохладу степей черноземных,
Являлся мне Джвари — старинный таинственный храм,
В глубокое небо высокой скалой вознесенный.
Везде настигала меня по тебе эта грусть,
Как птиц настигает, наверное, грусть по гнездовьям,
И грела мечта, что к тебе я когда-то вернусь,
Что солнцем твоим опалюсь,
и ветрами напысь,
Что встречусь с тобой, как встречаются с первой любовью.

ТРИ РОДИНЫ

В каком навечно дальнем отдалении
Тот милый край, в окне сирени гроздь...
Начни с него, мое стихотворение,
Начни с земли, где детство родилось.
С тех зим бесснежно-влажных, словно осени,
С проулков тех, где, всем дворам слышны,
Горластые мацонщики на осликах
В хурджилах развозили кувшины.
Где Лермонтов глазами вдохновенными
У монастырских стен, с крутой горы,
Глядел, как там, сливаясь, мутно-пенные
Скользят струи Арагвы и Куры.
Где, как хорал застолий, песни дружные,
Где март в миндально-розовом цвету...
Я там училась древнему радушию,
Училась сердцем видеть красоту.
Тот край живет во мне, как озарение,

Живет звуча, красуясь и струясь.

Поклон ему...

Теперь, стихотворение,

Пойдем туда, где юность родилась.

В степи, где меж палаток ветры рыскали,

Крутя вокруг столбы песков седых,

Где вспышки сварок так сверкали искрами,

Что даже солнце щурилось от них.

Там у Боз-Дага с голыми отрогами

Шло мужество. И по его следам

Шеренгой шли опоры длинноногие,

Чтобы подставить плечи проводам.

Чтобы грачи туда слетались стаями,

Чтобы гуденье ччел вдоль берегов.

Я там училась, в юности выстаивать

Усталость, зной, пронзительность ветров.

Тот край во мне живет, как повеление

Держать с истоком становленья связь...

Поклон ему.

Теперь, стихотворение,

Пойдем туда, где зрелость родилась.

Здесь дали из берез и елок сотканы,

Тесны раздольным рекам берега.

Здесь звезды над столицею высотною

Не гасят ни дожди и ни снега.

Раздвинуты движеньем века улицы,

Меж этажей, что в рост застеклены,

Хранят соборы, словно в шлемах Муромцы,

Предания глубокой старины.

На крышах сплошь — антенны крылатых рощицы,

Теплы огни в ладонях фонарей;

Когда идешь по плитам Красной площади,

Слышны шаги всех наших Октябрей.

И здесь нельзя не вспомнить без волнения

Высокий день, когда фронтовики

Несли Победу к мавзолею Ленина,

Склонив знамен поверженных древки.

Великий град борений, взлетов, гордости,

В нем слито наших всех земель родство.

Он одаряет мужеством и зоркостью,

Пожизненною верою в него.

Поклон ему...

А сколько было пройдено



Дорогами, где жизнь меня вела!
...В моей отчизне у меня три родины,
Три разветвления одного ствола.



●

Я не заметила, когда, в который миг,
Перелетая юности границу,
Коснулось время тихо глаз моих
И веки чуть нахохлились, как птицы.
Не знаю я, в какой из сентябрей,
Пусть в ясный день, пусть сумеречно-хмурый,
Я стала видеть зорче и острей
Сквозь грусть уже навечного прищура.
Я не заметила, с которой из страниц
Всей жизни, что уходит неизбежно,
Я стала прятать в тайниках ресниц
К моим глазам прихлынувшую нежность.
Не знаю я, с которой вышины
Мне стало видно прямо, без гаданья,
Кому они действительно нужны,
Мои глаза, усталые с годами.
Такие вот, как есть, с их зрелостью земной,
Всевидящие, грустные все чаще,
Сто тысяч раз проплаканные мной,
Сто тысяч раз сверкавшие от счастья.

◆

●

Как холодно в Эшери и как строго.
На пир дождя не звал нас небосвод.
Нет никого. Лишь бодрствует дорога
влекомых морем хладных горных вод.
Вино не приглашает к утешенью
условному. Ум раны трезв и наг.
Ущелье ныне мрачно, как ущелью
пристало быть. И остается нам
случайную пустыню ресторана
принять за совершенство пустоты.
И, в сущности, как мало расстоянья
меж тем и этим. Милый друг, прости.
Как дней грядущих призрачный историк,
смотрю на жизнь, где вместе ты и я,
где сир и дик среди мирозданья столик,
накрытый на краю небытия.
Нет никого в ущелье. Лишь ущелье,
где звук воды велик, как звук судьбы.
Ах нет, мой друг, то просто дождь в Эшери.
Так я солгу — и ты мне так солги.

БОРЕ

Дарю тебе сию тетрадь.
Но на бумаге благородной,
о боже, вдруг — не плодородной,
что я сумею написать?
Стихи, что брезжат вдалеке,
неразличимы и любимы.
Как говорят у нас в Ладыге,
дарю тебе kota в мешке.
Прости! Ты к просторечью строг.
В местах печальных и прелестных,
в Тарусе и ее предместьях
вовсю мать-мачеха растет.
На образ прянувшей травы
простерли тщанье и уменьье
все те, кто, если не умнее,

то и не злее детворы.
Соотношу мою луну
с луной, известной на Арбате, —
и получается объятье
с тобою. Я тебя люблю.

30 марта 1983 г.

ЗВУК УКАЗУЮЩИЙ

Звук указующий, десятый день
я жду тебя на Паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и следишь за мной?
Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?
Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что — пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.

29-30 марта 1983 г., в Тарусе

ПАШКА

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок...
...Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.
Кромешность прятков. Лампа ждет меня.
Но что мне делать? Слушай: «Буря мглою...»
Теперь садись. Пиши: эМ — А—эМ—А.
Зачем все это? Правильно ли? Надо ль?
И так над Пашкой — небо, буря, мгла.
Но как доверчив Пашка, как понятлив.
Как грустно пишет он: эМ—А—эМ—А.

Так мы сидим вдвоем на белом свете.
Я — с черной тайной сердца и ума.
О, для стихов покинутые дети!
Нет мочи прочитать: эМ—А—эМ—А.
Так утекают дни, с небес роняя
разнообразье еженощных лун.
Диковинная речь, ему родная,
плениет и меняет Пашкин ум...
...Вчера: писала. Лишь заслышав: Белка! —
я рево, как одноименный зверь,
своей проворной подлости робея,
со стула — прыг и спряталась за дверь.
Значенье прятков сразу же постигший,
я этот взгляд вспомню в крайний час.
В щель поместился старший и простивший,
скорбь всех детей вобравший Пашкин глаз.
Пустился Пашка в горький путь обратный.
Вослед ему всё воинство ушло.
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий
и с ними дактиль. Что там есть еще?

22 апреля (и ночью) 1983 г.

Люблю ночные промедленья
за озорство и благодать:
совсем не знать
стихотворенья,
какое утром буду знать.
Где сирю обитают строки,
которым завтра улыбнусь,
когда на Паршинской дороге
себе прочту их наизусть?
Лишь рассветет — опять
забрежу
в пустых полях зимы-весны.
К тому, как я бубню и
брежу,
привыкли дважды три
версты.
Внутри, на полпути мотива,
я встречу, как заведено,
мой столб, воспетый столь
ретиво,

что и ему, и мне смешно.
В Пачёво ль милое
завдвинусь,
иль столб миную напрямик,
мне сладостно ловить
взаимость
всего, что вижу в этот миг.
Коль похвалю себя —
дорога
довольна тоже, ей видней,
в чем смысл, еще до слов,
до срока:
ведь все это на ней, о ней.
Коль вдруг запинкою
терзаюсь,
ее подарок мне готов:
все сбудется! Незримый
заяц
все ж есть в конце своих
следов.

Ни шевельнуться, нидохнуть — нет мочи.
Кто рядом был? Чьи мне слова слышны?
— Шум тишины — вот содержание ночи.
Шум тишины... — и вновь: шум тишины...
И только-то? За этим ли трофеем
я шла в разлад и разноречивой весны,
в разъятый ад, проведанный Орфеем?
Как нежно он сказал: шум тишины...
Шум тишины стоял в открытом поле.
На воздух — воздух шел, и тьма на тьму.
Четыре сильных кругосветных воли
делили ночь по праву своему.
Я в дом вернулась. Ахнули соседи:
— Где были вы? Что там, где были вы?
— Шум тишины главенствует на свете.
Близ Паршина была. Там спать легли.
Бессмыслица, несладкая, мне — долго
любить тебя. Но веки тяжелы.
Шум тишины... сон подступает... только
шум тишины... шум только тишины...

1984 г.



Дорога на Паршино, дале — к Тарусе,
но я возвращаюсь вспять ветра и звезд.
Движение мое прижилось в этом русле
длинною — туда и обратно — в шесть верст.
Шесть множим на столько, что ровно несметность
получим. И этот туманный итог
вернем очертаньям, составившим местность
в канун ее паводков и поволоков.
Мой ход непрерывен, я — словно течение,
чей долг — подневозльно влачиться вперед.
Небес близлежащих ночное значение
мою протяженность питает и пьет.
Я — свойство дороги, черта и подробность.
Зачем сочинитель ее жития
все гонит и гонит мой робкий прообраз
в сюжет, что прочней и протрацией, чем я?
Близ Паршина и поворота к Тарусе
откуда мне знать, сколько минуло лет?
Текущее вверх, в изначальное устье,
все странствие длится, а странника — нет.

1984 г.

Тот лишний день, который нам дается,
как полагают люди, не к добру, —
но люди спят, — еще до дня, до солнца,
к добру иль нет, я этот день — беру.
Не сообщает сведений надземность,
но день — уж дан, и шесть часов ему.
Расклада високосного чрезмерность
я за продленье бытия приму.

Иду в тайник и средоточье мрака,
где в крайний час, когда рассвет незрим,
я дале всех от завтрашнего марта
и от всего, что следует за ним.

Я мешкаю в Ладыжинском овраге
и в домысле: расход моих чернил,
к нему пристрастных, не строку бумаге,
а вклад в рельеф округе причинил.

К метафорам усмешлив мой избранник.
Играть со мною недосуг ему.

Округлый склон оврагом — рвано ранен.

Он придан месту, словно мысль уму.

Замечу: не из-за моих писаний

он знаменит. Всеопытный народ
насквозь торил путь простодушный самый
отсель в Ладыгу и наоборот.

Сердешный мой, неутолимый гений!

В своей тоске, но по твоим следам,
влекую тропюю вековых хождений,
и нет другой, чтоб разминуться нам.

От вас, овраг осиливших с котомкой,
улышала, при быстрой влаге глаз:

— Мы все читали твой стишок. — Который? —

— Да твой стишок, там про овраг, про нас.

Чем и горжусь. Но не в самом овраге.

Паденья миг меня доставит вниз.

Эй, эй! Помене гордости и влаги.

Посуше будь, все то, что меж ресниц.

Люблю оврага образ и устройство.

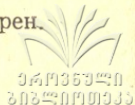
Сорвемся с кручи, вольная строка!

Внизу — помедлим. Восходить — не просто.

Подумаем на темном дне стиха.

Нам повезло, что не был лоб расшиблен
о дерево. Он пригодится нам.

Зрачок — приметлив, хладен, не расширен.
Вверху — светает. Точка — тоже там.
Я шла в овраг. Давно ли это было?
До этих слов, до солнца и до дня.
Я выбираюсь. На краю обрыва
готовый день стоит и ждет меня.
Успею ль до полуночного часа
узнать: чем заплачу календарю
за лишний день? за непомерность счастья?
я все это беру? иль отдаю?



1984 г.

Давид САМОЙЛОВ

Л. Л.

Отвези меня в Грузию! Там я хочу умереть.
Но сначала хочу поглядеть со скалы над Сигнахи
На долину, где осень кует виноградную медь
И стоят полукружием горы, надвинув папахи.
В Алазанской долине пой меня белым вином,
Я потом буду долго жевать золотую чурчхелу.
Отвези меня в Грузию, друг! Приведи меня в дом,
Только здесь я решусь отдаваться последнему делу.
Только здесь, где однажды запели Шота и Важа,
Только здесь, где стояла препона всевластью ислама,
Только здесь, где судьба положила конец рубежа,
Только в Грузии, здесь и начнется последняя драма.
Пусть я буду дыханьем холмов ее освежен,
Пусть я буду объят, опоен ее долей и волей,
Византийскою негой усталых грузинских княжон
И медлительным вежеством долгих крестьянских застолий.
О, великая Грузия! Сколько речей и племен —
Кახетинцы и ймеретинцы, хевсурсы и пшавы,
Но единственной саблей ты блещешь на грани времен,
И без маленькой Грузии нету великой державы.
Отвези меня в Грузию! Там я хочу умереть,
Здесь, с друзьями, окончится вдруг ощущение чужбины.
И еще я хочу, и еще я хочу поглядеть
Со сигнахских высот в глубину Алазанской долины.

НИКО

Ему не надо было забывать.
С него хватало слухов и догадок.
А надо было гвозди забивать,
Чтоб вывески держались на духанах.

Не надо было думать, чтоб закат
Как у Моне, известного закатчика.
А надо было выполнить заказ
И после деньги получить с заказчика.

На небольшие деньги ел и пил.
Немного ел, а пил — сколько хотелось.
Не проявлял в искусстве мягкотелость.
Грузин хороший Пиросмани был.



Все-таки стоило кашу заваривать —
Так поступать и так разговаривать,
Так наступать и так отступать:
С гордостью этакою выступать.

Эта осанка и эта надменность —
Необходимость и непременность.
Давим фасон (как в былые года).
Стиль (современное слово) показываем.
Честь (кому надо) всегда оказываем.
Кому же не надо — лишь иногда.



Сорок сороков сорокалетних
однокурсниц и соучениц,
по уши погрязших в сплетнях,
пред успехом падающих ниц,

все же сердобольных, все же честных,
все же (хоть по вечерам) прелестных,
обсудили и обговорили,
и распределили все места,
и такую кашу заварили!
Ложка в ней стоймя стоит — крута!



Эти сорок сороков я знал
двадцать лет назад — по институту,
и по гулкости консерваторских зал,
по добру, а также и по худу.

Помню толстоватых и худых,
помню миловидных, безобразных,
помню работающих, помню праздных,
помню очень молодых.

Я взрослел и созревал
рядом с ними, сорока сороками,
отмечал их дни рождения строками,
а на днях печали — горевал.

Стрекочите и трезвоньте,
сорок сороков, сорок сорок,
пусть на вашем горизонте
будет меньше тучек и тревог.

●
Завяжи меня узелком на платке,
Подержи меня в крепкой руке.
Положи меня в темь, в тишину и в темь,
на худой конец и про черный день.

Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба.
Я схожусь судьбине, а не судьбе.
Покуда обильны твои хлеба,
зачем я тебе?

АНАФЕМА ВРАГАМ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Черта под чертою. Пропала оседлость:
Шальное богатство, веселая бедность.
Пропало. Откочевало туда,

Где призрачно счастье, фантомна беда.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.
Он вылетел в трубы освенцимских топок,
Мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он — черный. Он — жирный. Он — сладостный дым.
А я его помню еще молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
Шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря,
И в будни, когда он сидел в дураках,
Стянув небеса или брови нахмурия.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.
Планета! Хорошая или плохая,
Не знаю. Ее не хвалю и не хаю.
Я знаю не много. Я знаю одно:
Планета сгорела до пепла давно.
Сгорели мелаамеды в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто...
Сгорели артисты, сгорели путейцы,
Пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
Сгорели, потопли в потоках летеиских,
Исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.



Сергей ПЕТРОВ

●
Про осень да про лето,
про года времена
зачем читать у Фета,
зачем у Кузмина?
На осень я не стану
нацеливать перо,
глядеть по Левитану,
взирать как Писсаро.

Перо беру иль кисть я,
гляжу хоть вдаль, хоть
вблизи —
летят дожди да листья,
и лезут грязь и слизь.
Безумному Ван Гогу
не занимать ума.
Живешь — и слава богу,
которого нема.

Как вы полны, земные пять минут,
когда пекут блины, белье стирают,
торгуют, плачут, песенку поют,
целуются, в квартире прибирают,
в трамвае едут и судьбу клянут,
животики от смеха надрывают,
рожают и пускают в дело кнут,
возводят из соломинок уют,
по морде бьют, ломают, создают
и дремлют, и от пули умирают
иль просто богу душу отдают.

САД

Написать на куртине бы лето!
И от солнца холст полосат.
Как в последней картине балета,
Весь на сцену выходит сад.
От решетки и до калитки,
Будто прыткие пастушки,
Пораспрыгались маргаритки,
Но прыжки их — лишь на вершки.
Ход подсолнухов одинаков:
Тик да так они, так да тик!
Вьются в такт им юбочки маков,
Жмутся нежно фижмы гвоздик.
И петуний китайские шляпки
Закивали во все углы...
Свищут пеночки и оляпки,
И малиновки, и щеглы.
Георгины еще в покое,
А пионы уже трубят,
Но, как лебеди, спят левкой,
Лоэнгрины белые спят.
В страсть кидаясь и в пыл шиповный,
Разворачивают розы рты,
Размалевывают, как поповны,
Девы-мальвы свои мечты.
И звенит жемчугами франта,
И в зенит идет, и в надир
Голос — палевое бельканто,
Гладиолус, тенор, Надир.

И статс-дамами астры встали
В перьях страусовых, и вот
Сам Прокофьев ведет из дали
Королевских лилий гавот.
И от солнечного оркестра
Расписной и зной, и туман.
Машет веточкой Август-маэстро,
Сумасшедший балетоман.
Нет, не в Фаусте заклинали
Вас, цветы, устами менад—
Это в летнем балетном финале
Весь на сцену выходит сад.



Владимир ЛЕОНОВИЧ

МАТЬ ЭТИХ МЕСТ

В который раз сошла трава?
Который век? Сочти и сведай.
Но здесь была всегда жива
мать этих мест — адгилис дэда.
Все бьется ключ — хоть весь овраг
завален хламом процветанья, —
и мать — хоть ты себе же враг —
тебя хранит давно и тайно.
Гляди, как дерево стоит —
как будто предка повторило!
Праматерь знает и таит,
что минуло и сотворило
текущий день и все дела,
и нас с тобой, детей гордыни,
что разоряла мир дотла
и не насытилась доньине.
...Встает разрушенный тотем,
встает базилика, часовня,
окрестный лес — встает затем,
чтоб потрясен ты был спросонья!
Воспламенился пепел книг,
чтобы из пламени исторглась
сожженная до «Шушаник»
иберов истинная гордость!

Ну, а в начале этих лет,
когда припомнить, что же было?
...Глаза младенца — синий цвет —
полуприкрыты. — Швило, швило!..
И белый гроб, и мать в платке,
и тьма людей идет прощаться.
Жара, и кладбище в Ваке
дрожало чашею причастья.
Ушел я в горы, в тишину,
в рельефе чтобы разобраться...
Младенца нынче помяну,
уж было б лет ему пятнадцать.
А мать...
Мгновение одно
бездонной темноты и боли...
Мгновенье переведено
на годы, голоса и роли.
А по-грузински я молчу —
и все верней, и безусловней.
Поставлю каждому ключу,
где он пробился, по часовне.
Хочу, чтоб каждый свой исток
душа моя благословила,
покуда жив и не иссох.
Все эти годы: — Швило, швило!..

ГАЛАКТИОН ЧИТАЕТ

Уже в ветвях черно и голо,
и лес во тьме — или в огне —
и дух поэта вне глагола,
и слышать гложнущее соло
уже невыносимо мне!
Твои голосовые снасти
так оттрепало, как листву,
но память жизни, память страсти
на старости — как наяву.
Я отмолю тебя, омололив
живую рамою, — прости! —
но слово — счастьем — переполнив —
не удержать, не вы-нес-ти!

Наклоненные серые плиты.
Оползанье, разлом и разлад.
Бук растет, разделяя граниты,
как писали лет двести назад.
Корень скручен и в камень завинчен.
Подивились и дальше пошли.
В этой местности корень первичен
и вторична щепотка земли.
Сыт пригоршнею каменной крошки
и летучей росой напоен
стланник скрюченный — рожки да ножки.
А свобода — во весь окоем!
И не камнем, а небом единым
заживем на последней черте —
в яром ветре и в облаке дымном
на летящей во мглу высоте!

Блаженная страна,
в которой вы живете,
которой крутизна,
замеченная Гете,
и камня, и небес,
и стихотворной строчки
имеет вкус и вес
и рождена в сорочке!
Вся скомкана земля,
вверху зимует лето,
но Грузию нельзя
расправить на полсвета.

Будь истина — тесна,
но врозь — духан и келья.
Вселенная видна
из черного ущелья.
А волны разведешь,
где ваш почует Китеж...
Но если раз войдешь,
то более не выйдешь.
Неразрешимы, нет,
проклятые вопросы.
Да видит тьму и свет
ущелья глаз раскосый!

Павел ГРУШКО

ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Что было за день? За горой гора,
покатая Кахетия в тумане,
оранжевое облако костра
и сонных сопок переодеванье,
сквозная неприютность голых лоз,
волы, и птиц ленивая орава,

и девочка, кричащая картаво
на сбившихся у перекрестка коз.
Нахетия, зачем я здесь, ответь?
Среди старух, метущих половицы,
застолій долгих, где в окне зарницы,
река и виноградных склонов медь?
Но ты мне тянешь чашу и напев, —
так не поют нигде на белом свете.
Не понимая даже междометий,
я слушаю, немного оробев.
Я не достоин этого добра.
Что мне сказать столетним запевалам?...
Сейчас, когда над смутным перевалом
лишь две звезды остались до утра, —
все, что творилось в этом длинном дне,
ворочается в поисках покоя,
слагается в согласие скупое,
чтобы потом всю жизнь являться мне.

ОСЕННЯЯ ГИБЕЛЬ

Все так же держит дерево с утра
в окостенелых пальцах паутину,
и посинил осеннюю картину
прогорклый дым усталого костра.
Уже октябрь опробовал дожди,
и умер муравейник у забора,
и соснам стало зябко посреди
застывшего свинцового разора.
Так неутешно в этой тишине,
хоть я и знаю: то, что в ней творится,
бесчувственно, а чувства — роговица,
мой мозг и то, как все это во мне.
Но даже и без чуткой службы глаз
я ощутил бы голым зреньем слуха,
как без листвы опавшей стало глухо,
а зреньем кожи — как простор погас...
Душа моя, мой вестер на ветру,
как ты смешна навязчивым желаньем
вменить намерения мертвым тканям —
коре, колодцу, дыму и костру.
Пугаешься. А впрочем, ты права —
студеное успение творится:
мертва малина, и под ней мертва

полуприкрытая листком синица.
На старице погибли камыши,
и сваями ощерилась плотина.
Меня оглядывает паутина
заемным зрением моей души.



ЗЕМЛЯ НА СНЕГУ

Уже она ушла. Ее дыханье
в январском растворяется тумане.
Земля могилы брошена на снег.
Гроб на сугробе синем легче вдвое.
Лицо ее — почти совсем живое,
так может спать уставший человек.
Ладья уходит в океан земли.
Смеркается, уже исчезли птицы,
на холмике — еловые косицы.
Она осталась. Это мы ушли.
Так завершился теплый путь. За ним
еще один без осеней и зим,
и этот новый возраст, проще, вечность,
отныне будет укорять беспечность,
с которой мы во времени сквозим.
И даже если это просто яма
и нет за этой гранью ни души,
я говорю ей: «До свиданья, мама».
И слышу тихий голос: «Не спеши».

СВЕТ ОТЦА

Свет отца — усталая зарница.
Столько жизни выпало ему!
Что бы, наконец, угомониться,
годы перебрать по одному.
Где уж там, — худой осенней веткой
он к прохожим тянется чуть свет,
радуясь любой улыбке редкой,
беглому кивку: «Здорово, дед».
В городке он притча во языцех,
местный доктор травяных наук:
зорко он выскивает в лицах
скрытый от сторонних глаз недуг.
Подойдет, в участливых ладонях
руку незнакомому помнет



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱԾ

и помянет руту, вереск, донник,
пижму, эстрагон, крапиву, мед...
Из всего, что было с ним, как с телом
и душою, с бранным существом,
движущимся к смерти под обстрелом
жизни, между детством и вдовством, —
в этой повседневности осенней
с промельком своих и общих дат,
после всех удач и невезений,
войн, побед, находок и утрат,
и пожизненных забот кормильца, —
только и осталось у отца
одержимость робкая — томиться
в поисках недужного лица.
Столько светлых глаз перебивало
на его усталой худобе.
Лишь однажды кто-то разудало
бросил: «Сразу видно — не в себе!» —
дал свою оценку откровенно,
что же, очевиден этот грех,
мы и сами знаем — так блаженно
не в себе отец наш, а во всех.



Леонид ТЕМИН

●

Еще оплачу горькими слезами
Я то, что нераскаян и двужил.
Живу за сорок так, как в двадцать жил,
Гляжу на женщин грешными глазами,
Бог весть, какой ценою оплачу,
Когда посожалею на излете,
Что часто душный полусумрак плоти
Предпочитал духовному лучу.
Хотя... хотя — не тесно в этом доме
Отеческом, и угадать нельзя,
Вдруг и моя тернистая стезя
Терпима среди прочих икономий,
Чью волю выполняю я, бродя,

Всегда ли верен путь прямой и близкий,
Быть может, существует подвиг риска,
Лишь тот, кто это знает, мне судья.



●
Уезжаю поутру в Тбилиси.
Стелются осенние дымки,
На кустах горят сухие листья,
Я швыряю в них черновики.
Корчатся, чернеют — задымило!
Чудится в густеющем дыму,
Чуется отчетливое — было.
Было, было тридцать лет тому...
К одурелым запахам акаций
Подмешали языки костров
Запах страха и эвакуаций,
Запах социальных катастроф.

●
Горький пепел — побежденных горе,
Дух парной еще раскрытых ям,
Осенеет в тихом Цахкадзоре,
И синее древний край армян.
Сколько прожил здесь — не породнился.
Восхищался, пел, но все равно
Было сердце отдано Тбилиси,
Сердце, что поделаешь, одно!
Что поделать, не хватает жизни,
Если что-то хочешь дать отчизне,
Но должнаешь, не отдав долги;
Право не генетики, но духа
Тосковать томительно и глухо
По далеким, с коими близки.

●
Не диеты хочется, но пищи,
Пировать, не есть мечтает нищий.
Жадность — горемыке не позор.
Вот о чем в кулак здесь ветер свищет,
Вот куда бежал он за две тыщи
Метров ввысь от моря — Цахкадзор!

◆

ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЗОНЕ

Полуночного ветра глухая струна.
Причитанья дождя до рассвета.
Вот он, сумрачный край золотого руна,
Малярийное царство Аэта.
Обезлюдил простор. Аргонавты ушли.
Миновали века торопливо.
Только горечью веет от стылой земли.
Только холодом тянет с залива.
Только сосны враскачку скрипят на юру.
Только волны вгрызаются в сушу.
Чтобы сердце твое обескровить к утру
И бессонницей выстудить душу.
Здесь и вправду надежды питать не резон
И вперяться во мглу без предела.
Если счастья отсюда не вывез Язон,
Что уж нам мельтешить неумело.
Как пустынно вокруг: ни пути, ни звезды —
Только ветер поет испугленно.
И скрежещут впотьмах камыши у воды,
Прорастая, как зубы дракона.
Лишь бы только сейчас до утра дотянуть,
На нескорый восход уповая.
Нет, не нам увязать в этой драме по грудь,
Не про нас эта страсть роковая!
Разве мы проливали невинную кровь
И спешили дорогой морскою,
Чтоб теперь отвечать за чужую любовь
И чужою томиться тоскою?
Обойди нас, преданья недобрый сюжет.
Нам свои непосильны затеи.
Что стоять за плечами, когда уже нет
Ни «Арго», ни руна, ни Медеи?

●
Ах, эти пейзажи в стихах хороши, а на деле
Глазам примелькались. И, право, душа безразлична
К сквозным перелескам, где клены уже облетели,

К угрюмым станицам, что тянутся к югу привычно.
 Ах, это стихам подобает — рыдания и плачи
 Дождя за стеною и жалобы ветра ночного...
 Все это метафоры, все это в жизни иначе —
 Страшнее и проще без выдумок праздного слова.
 Ах, это в стихах интересно — разлад и разруха
 Осенней природы, где глина плывет под ногами,
 Где бьется в стекло, обезумев, последняя муха,
 Где рано темнеет и поздно светает над нами.



Марина КУДИМОВА

Я землю частную лопачу.
 Земля не знает, чья она,
 И тем упорнее, тем паче
 И неподъемна и трудна.
 И огурцы, и помидоры,
 И неумеренный сорняк
 В земле, как в ящике

Пандоры,

Залягут на своих корнях.
 А за забором — бездна
 пляжа,
 Туретчина — рукой подать —
 И цареградская пропажа,
 Которой мне не увидать.
 Играю с морем я всухую,
 Иначе насморк схлопочу.
 Копаю землю близ Сухума

И, как всегда, в Тифлис
 хочу.

Я начинаю задыхаться,
 Набила рукоять мозоль.
 — Аджика! — говорят
 абхазцы.

А я им возражаю: — Соль!
 В целик чужого огорода
 Ввожу железный черенок,
 И вывернутая природа
 Торцом ложится возле ног.
 В ней все хранится, будто
 в банке,

Или в душе, или в яйце.
 И что посеешь на изнанке,
 То пожинаешь на лице.

ЮБИЛЕИ

Много званных. Рычи или блей,
 От жары и с похмелья болей.
 Мы приехали на юбилей,
 Но у времени нет юбилей.
 Мало избранных. Капает пот —
 Он от моря еще солонее.
 Потому юбиляр столько пьет,

Что у истины нет юбилея.
Зыбь и рябь. Недостроен причал.
Виночерпий сменил Водолея.
Юбиляр закричал — и смолчал:
У искусства-то нет юбилея.
Растяжимый кавказский акцент —
Полугласный и полусогласный.
Неолит, мезозой, голоцен —
Небо ясно, а море неясно.
Виноградной лозою туша
Кислый привкус конторского клея,
Долгожителей старше душа,
Только нет у души юбилея.
Трезв соперник, а кореш поддат,
Съели после форели филея.
Набралось у любви много дат,
Но боится любовь юбилея.

КИНО

Уж мне-то всё, я думала, дано!
Ан нет! Дана мне малая толика...
Засим я вас — от мала до велика —
Уведомляю, что люблю кино.
Кино, где не беременеют жены
И не прелюбодействуют мужья.
Где у актеров слины напряженны,
Как будто бы в них целят из ружья.
Где в выставочном стильном интерьере
Так чисто, что не моются полы.
Где жизнь наружу, будто бы в вольере,
И паутина не темнит углы.
Где не грязнятся платья и рубахи,
И брюки не лоснятся на заду.
И если по сюжету мучат страхи,
То это происходит раз в году.
Где необременительные дети
Обожествляют детские сады,
Оставшись дома, в сутках спят две трети
И не психуют из-за ерунды.
И все, что люди называют бытом,
Из-за чего им трудно быть людьми,
В кино не то что выглядит забытым,

Но и не побуждает лечь костями.
Оно совсем без запаха и плоско,
Как суповой удобный концентрат,
В нем есть невоплощенность переростка
И дурака, что сам себе не рад.

И, контролером оскопленный криво,
Билетик я в кармане тереблю,
И если там про то, чем люди живы,
То я кино такое не люблю.
Оно кричит, что мирозданье пусто
И некому пределы полагать,
Что станет рукотворное искусство
Нерукотворным... Но не надо лгать!
Как зрелище, дающее усталость
В обмен на побежденный неуём,
Люблю кино, где я уже снималась
И не настаивала на своем.



До стоячей Яузы два шага,
Света теплой пыли парапет.
Здесь была актерская общага,
Здесь всегда торчал один поэт.
Дверь была без номерного знака.
Здесь, рифмуясь с Сарою Бернар,
Прижилась ничейная собака —
Дорогой породы сенбернар.
Круглый день на кухне ели, пили
И играли в пульку на пятак,
Возвратившись со спектакля или
Только собираясь на спектакль.
Было там накурено, не чисто,
Тараканы прыскали из нор.
Знайτε, настоящие артисты
Никогда не говорят «актер».
Есть в общагах некая аккордность,
Все в них происходит невзначай.
Есть среди артистов та же сортность,
По какой оценивают чай.
Это только в выпеченном тесте
Не сыскать яиц и отрубей.
Говорят — театр военных действий,
Мельпомена, это о тебе!

И не умещаются в анонсы,
Не сияют с тумбы и доски
Ординарцы и оруженосцы,
Полковые девки, денщики.
Но когда врубается подсветка —
Нету ни нулей, ни единиц,
И идет глубокая разведка
Шансов, флангов, тыла и границ.
Из массовки выбираясь в мыле,
В запертые двери не стучась,
Веруют великие немые,
Что заговорят в свой звездный час.
Пусть не знают мира их оливы,
Пусть их точит зависть и нужда,
Но сердца у них неприхотливы
И душа уныния чужда.
И они не знают опасений,
Что придется выйти из игры,
Ибо смертны красота и гений,
Смертны, хоть настырны до поры.
Чацкий улепетывал в карете,
И один поэт, надев пальто,
Думал: «Как играют, словно дети,
А играть им все равно во что».



— Тоже, мол, у лэфов появился Пушкин,
Вот арап! а состязается с Державиным...
(Маяковский)

Только нога ступила в Кавказ,
я вспомнил, что я — грузин.
(Маяковский)

Принял труженик сан сатрапа,
Но натура неисказима.
Путь Европы — в руке арапа,
Груз эпохи — в устах грузина.
Что просилось — то и имелось.
Время разнится лишь музыкой.
И откликнулся горний мелос
Какофонии безъязыкой.

Сыновей отец понимает,
Ибо требует в меру, ибо
Так духовный язык ломает,
Как рожонный хрустел над дыбой.
Расчихались бы, чертыхаясь,
Но усвоилось, как цикута.
А когда оседает хаос,
Выясняется, что откуда.
И где ветер по топи рыщет,
Проступают черты добра
Заусенцами в топорище
Маяковского и Петра.



Светлан СЕМЕНЕНКО

ЭЛЕГИЯ

Уж смерть где-то бродит и что-то бормочет о тризне,
а я все учусь и сказать «научился» не смею,
и вроде бы весело вместе со всеми шагаю по жизни.
А жить не умею.
Что сделал, то сделал. Что смог — знают эта и эта.
А где-то — далекая Мцхета и Светицховели...
Там тоже горели, сторая до полного света.
А жить — не умели.
Не знаю, не знаю, какое мне дело до прочих,
мне регельских крошечных горок довольно для плача,
где братья мои бестолковые
душу друг дружке морочат.
И жить не умеют иначе.



Николай ШАХБАЗОВ

МАЛЬЧИК НА ФОНЕ ДЕРЕВА. ДЕТАЛЬ



Повесть

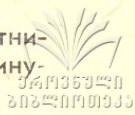
...а может, фазан все-таки был, и не врет легенда, что он, сраженный, упал в горячий источник, бьющий из-под земли? Может, действительно царь сказал тогда, что на этом месте будет строить город? Может и впрямь начал расти город отсюда — от бань, воздвигнутых над источниками?

Неумолчно льется вода, падает на камень. Падает вода на камень, льется. Лишь глубокие борозды — многовековая работа слез, стекающих по мрамору, — напоминают, что шумит время.

В марте на деревьях распустились почки, но уже в феврале зима была на исходе. Сирень сменила мимозу, сирень цвела буйно и размашисто, в небе по временам грохотали грозы.

Я заметил отца еще издали, когда он появился в конце аллеи, это, видимо, было на даче — раз мне запомнилась аллея; он нес арбуз, и тени скользили снизу вверх по парусиновым брюкам, подпоясанным ремешком, по рубашке-апаш. Так назывались рубашки с ко-

роткими рукавами и с широким отложным воротником. Он нес арбуз, держа его у плеча, на запрокинутой ладони.



Следовало пересечь Пушкинскую, миновать Публичную библиотеку, идти по Кецховели, через Александровский сад, далее по Дзнеладзе, до Водовозной. Школа находилась на Водовозной — угол Броссе, до нее можно было добраться и через Солдатский базар, мимо Воронцовского моста, по Набережной. Чего ради меня отдали в такую далекую школу, а не в сорок третью на Бебутовской, — неизвестно. Скорее всего потому, что сорок третья считалась привилегированной и родители опасались, что меня туда не примут. В этом здании с мраморными лестницами преподавали лучшие педагоги города, именитые семьи именно туда определяли своих детей... В тридцатых годах нашу школу заполонили дети военнослужащих и Закавказский военный округ принял над ней шефство — таким образом и наша школа, в каком-то смысле, стала привилегированной.

Я до сих пор довольно туманно представляю себе, кто такой Броссе и почему его именем названа улица.

Первому классу предшествовал подготовительный, и в шесть лет я стал учеником подготовительного класса. В первый день, как только меня приняли, я влюбился. У нее были толстые, как у куклы, ноги и взгляд царевны. Так, из-под ресниц, могла смотреть только царевна. Голову ее венчал огромный бант, затянутый так туго, что пучок волос над ним напоминал метелку. На групповом снимке, который у меня хранится, лицо мое выражает крайнее недовольство и печаль. Я хорошо помню причину моего недовольства. Когда нас выстроили перед фотоаппаратом, я не замедлил занять место рядом с объектом моих воздыханий, но фотограф, руководствуясь высшими законами искусства, велел мне перейти в другой ряд. Я вынужден был подчиниться, но уже скрыть огорчение было выше моих сил. Снимок этот датирован двадцать шестым годом; вот почему я утверждаю, что впервые влюбился именно в подготовительном классе.

...через девятнадцать лет я на ней женился, мы прожили два года и разошлись.



Впрочем, тогда были не классы, а группы.

Все годы, что учился, я ходил в школу в первую смену и не было случая, чтобы, вылезая из постели, не позавидовал тем, кто учится во второй или не учится вовсе. Особенно тяжело приходилось зимой. За окном сыро и пасмурно, слякотно, в предрассветной мгле на одинокой ветке сидит одинокая ворона, и так не хочется вылезать из постели, шагать в школу! Все еще с закрытыми глазами я натягиваю чулки, кое-как застегиваю рубашку, что-то бормочу — сетую на судьбу. На улице холод через воротник проникает за спину; я плетусь, тащу в руке портфель, в котором учебники, тетради, пенал, чернильница-неразливайка (по задумке чернила из нее не должны выливаться — как бы не так!), и успокаиваю себя мыслью, что в конце Серебряной меня ожидает маленькое чудо. Там, в самом конце Серебряной, на углу Пушкинской, в подвале, единственное окно которого наполовину выступает над тротуаром, помещается пекарня. Я задерживаюсь и заглядываю в окно, — обнаженные по пояс рослые парни весело и ловко ныряют вниз головой в раскаленную пасть печи, застывают вертикально и, прилепнув тесто к покатой глинобитной стенке, мгновенно, как солдатики, вновь становятся на ноги. Я смотрю в окно, как в сказку. За стеклом, в двух шагах от объявшего меня холода, празднично горит электричество, и пышет жаром, и парни беззаботно смеются, обмахиваясь передником; они извлекают из печи круглые плоские хлеба, подцепив их шестом с крючком на конце... Минуту-другую я стою над пекарней, обдаваемый снизу волнами теплого воздуха и запахом горячего хлеба, и, кажется, даже на какую-то секунду успеваю вздремнуть.

Классы были переименованы в группы потому, что воскрешали в памяти принадлежащую отошедшей эпохе гимназию. Старый мир должен был быть разрушен до основания, у нас, маленьких Робеспьеров, кружилась голова и захватывало дух, когда старшие, бесе-

дую, произносили словосочетания вроде «диктатура пролетариата» или «революционный трибунал».



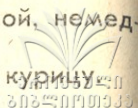
...теперь уже нет ни того угла, ни той пекарни.

На кухне в печке жарко пылают поленья, там бабушка возится с тестом, взбивает яйца, оттуда тянет ванилью и корицей, уже кипит самовар, и мама с легким треском распахивает накрахмаленную скатерть, ставит на стол чашки, тарелки, серебряную сахарницу с кусками белоснежного колотого рафинада. Я лежу с закрытыми глазами, хотя и не сплю, и знаю наперед — мама с минуты на минуту войдет в комнату и скажет: «Пора вставать». Мама входит в комнату и говорит: «Выглянь-ка в окно». Я догадываюсь, что означают ее слова, мгновенно вскакиваю и, полуголый, бегу к окну, откидываю штору и чуть более преувеличенно, чем следует, вскрикиваю от изумления. И действительно, есть от чего прийти в изумление. Все вокруг белым-бело; крыши домов, деревья, наш двор, ограда двора, балконы соседей — все запорошено снегом, шапочка снега сидит даже на черной точечке единственного ореха, которому непонятно каким образом удалось до самой зимы уцелеть на ветке. Первый снег! Еще вчера вечером ветер противно завывал в водосточной трубе, и, засыпая, ты думал, что так будет продолжаться вечно, а наутро, как в передвижной картинке, все за окном преобразилось, застыв в праздничном убранстве. Стоило лишь смежить веки и вновь открыть их. И это тоже было одним из маленьких чудес детства.

В обычные дни продукты покупала мама — в магазинах или у разносчиков овощей, но по воскресеньям за продуктами отправлялся отец, и ходил он не по магазинам, а на рынок, и то, что он приносил, называлось не продуктами, а провизией. Я очень любил воскресные возвращения отца с рынка. Из плетеной корзины перекладывались в огромный эмалированный таз охапки свежей зелени, пучки редиски, помидоры, баклажаны — отборные, без изъяна, влажно-яркие, будто омытые утренней росой, и, конечно же, фрукты, в зависимости от сезона, персики или сливы, гранаты, айва, инжир или черешня. Порывшись в кульке, я вы-

лавливал две черешины, спаренные рогаточкой, немедленно насаживал их себе на ухо.

Бывало, отец приносил с рынка живую курицу



Живая курица покупалась в случаях особых — в канун какого-либо праздника или торжества. Никто в семье резать курицу не умел, маме каждый раз с этим делом приходилось обращаться к дяде Багдасару.

Дядя Багдасар был великим мастером по части резанья кур. Всех кур, что покупали жильцы нашего дома, резал только он. Казнь производилась во дворе, у водонапорной колонки. Мы, дети, с жестоким любопытством наблюдали за этой процедурой. Поточив нож, дядя Багдасар укладывал курицу на край стока и, легонько придерживая одной ногой вывернутые крылья, другой — лапки, вытягивал ей шею и быстрым коротким движением отсекал голову. Курица не успевала опомниться, как ее голова с моргающими веками отлетала в сторону. Дядя Багдасар продолжал стоять над курицей до тех пор, пока не замирали предсмертные судороги. Если обезглавленную тушку отпустить раньше времени, она, разбрызгивая кровь, начнет кувиркаться по всему двору. Те, что были понеопытней, так и поступали. Про таких людей дядя Багдасар говорил, что они не любят птицу и лишены чувства жалости.

Когда я вспоминаю детство, в моем воображении прежде всего возникают пять деревьев нашего двора. Два из них были тузовыми. Ягоды туты созревают быстро, и век их недолог. Если не успеешь полакомиться в мае, придется ждать до будущей весны.

Прохладную, спелую туту едят ранним утром — поштучно или пригоршнями вместе с коротеньким мясистым стерженьком, на котором она держится на ветке. Разумеется, мы ее не мыли. Тузовое дерево следует трясти изо всех сил, тогда крупные, как желуди, ягоды градом посыпятся на землю. Мы подбирали их с земли и, дунув, отправляли в рот.

Тута бывает двух видов — белая и красная. Красная тута, или хар-тута, по форме не отличается от белой, но вкус у них — разный. Красная тута по терпкости и сладковато-кислому вкусу напоминает ежевику.

Сравнение это приблизительно, но какое-то представление о красной туте оно все же дает. Что же касается туги белой, тут, я полагаю, ничего не остается, как развести руками. Вкус белой туги не похож ни на что, он похож только на вкус белой туги.

Я уже был далеко не молодым человеком, когда умерла мама. И тем не менее я почувствовал себя взрослым окончательно тогда, когда ее не стало. Последние ее дни были столь мучительны, что смерть представлялась желанным избавлением от страданий. Она лежала на кровати, выдвинутой на середину комнаты, и, глядя уже из своего беспомощия, никого не узнавала, не узнала и меня, примчавшегося в родной дом тотчас же по получении телеграммы. Только в последнюю минуту взгляд ее просветлел и глаза увлажнились, она даже попыталась что-то сказать, но не смогла, и слеза, выступившая у края глаза, задрожав, медленно поползла к виску. И прекратилось наконец в ее груди клочкотание, слышать которое не было никаких сил.

Ее похоронили на пятый день, и все пять дней двери на лестничную площадку были распахнуты, в квартире толклись родственники, соседи, сослуживцы отца, знакомые, — о существовании многих из них я не подозревал и впоследствии больше их никогда не видел, — и каждый, стараясь услужить, что-то советовал, куда-то убегал и возвращался, по вечерам четверо оркестрантов, придав своим лицам выражение скорби, выводили на инструментах восточные мелодии, а мама лежала в гробу, обитом черно-красной материей, — чужая и отрешенная от всей этой суеты и ненужности.

В детстве мне казалось, что родители мои бессмертны, как боги.

Я ни в чем не был виновен перед мамой, во всяком случае огорчения, какие я ей доставлял, были огорчениями, какие доставляют все дети своим родителям, не более, и все же, когда она умерла, я испытал острое чувство вины перед ней. Вспоминались какие-то пустяки, стакан молока, который она просила меня выпить и который я так и не выпил, кашне, ко-

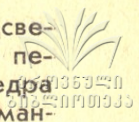
торым я отказался обмотать шею, думал я и о том, что, находясь далеко, в другом городе, мог бы писать ей длинные письма, какие писали в старину, а не ограничиваться телефонными звонками. Это чувство позднего раскаяния преследовало меня долго и после похорон, многие годы.

Всепоглощающим и неистребимым увлечением моего детства было коллекционирование лент. Лентами назывались кусочки расчлененной на кадры киноплёнки. Особо ценились так называемые головки — лицо актера крупным планом, и цветные кадры. Это не были кадры цветного кино в современном понимании, а всего лишь кадры, снятые на пленку с синей или желтой эмульсией — в зависимости от того, происходило ли действие лунной ночью или в солнечный полдень. Ленты мы покупали на черном рынке, за Мухранским мостом. Проекционные киноаппараты той эпохи были несовершенны, пленка то и дело рвалась, и пока мы топали ногами и кричали: «Сапожник!», кинемеханик склеивал пленку имеющимся под рукой ацетоном, предварительно отняв ножницами изрядное количество кадров с обеих сторон обрыва. Эти кадры и поставлялись на черный рынок.

Ленты мы не только коллекционировали, но и играли в них. Принцип игры в ленты несложен — лента, посланная с ладони ударом об край стола, должна накрыть ленту, находящуюся в поле. Трудность заключается в том, чтобы соразмерить силу удара с расстоянием, на каком лента находится. За игрой в ленты мы проводили столько времени, что на приготовление уроков его попросту не оставалось.

На двух магистральных проспектах, Головинском и Михайловском¹, были расположены шесть крупнейших кинотеатров города — «Миньон», «Арфасто», «Солейль» и «Дарбази», «Палас», «Аполло». Они показывали фильмы первым экраном, плата за вход была намного выше, чем в клубах. Наиболее фешенебельным из них считался «Палас». Просторное фойе, увеличенное системой зеркал, манило и пугало своей таинст-

¹ Ныне проспекты Руставели и Плевахова.



венностью. В глубине, на круглой, как барабан, подсвеченной эстраде перед сеансом играл оркестр и певица в платье выше колен и с приколотой у бедра матерчатой хризантемой исполняла городские романсы; по ее шелковым чулкам спиралью бежал свет. В зрительном зале со стен томно взирали на respectable публику звезды мирового кино.

Нам, мальчишкам, более по душе был «Миньон». Он находился на правом берегу Куры, в начале Бярятинского спуска, в подвале углового дома, именуемого Совпрофом. Тут не было ни зеркал, ни оркестра, и в буфете продавались не дорогостоящие бомбоньерки с изображением красавиц с распущенными волосами, а доступные нам мятные леденцы, от которых во рту сразу становилось прохладно. Билетерши «Миньона» многих из нас знали в лицо и в тех случаях, когда зрителей бывало мало, разрешали оставаться на второй сеанс.

...что же касается звезд мирового кино, то они имелись и в «Миньоне», и смотрели из своих овальных лепных виньеток не менее томно.

Я был уверен, что «Арфасто» — это какое-то иностранное слово, схожее по созвучию, скажем, с мефисто. Через много лет я узнал, что арфасто не что иное, как аббревиатура. В начале века дом, в котором помещался кинотеатр, был приобретен (или построен?) известным армянским миллионером-меценатом. В честь своих детей он дал кинотеатру название, составленное из начальных букв их имен: АРам, ФАддей, СТЕпан, ОЛЬга.

Но чаще всего я бегал в Клуб кожевенников. Он представлял собой одну большую комнату, в которую можно было шагнуть прямо с улицы. Сюда после работы приходили мастеровые с Армянского базара — поиграть в шашки или домино, а то и, разложив на газете закуску, распить бутылку вина. В свои рассказы они вставляли крепкие словечки, приводившие нас в восторг, и в знак одобрения толкали друг друга в плечо. Здесь пахло красками и дубленой кожей, и здесь все были равны. Достаточно сказать, что нам, не достиг-

шим шестнадцатилетнего возраста, разрешалось смотреть любые фильмы.

— Кем ты станешь, сынок? — обращался ко мне кто-либо из мастеровых.

— Кожевенником, — не задумываясь отвечал я.

— Молодец, — говорил он и толкал меня в плечо.

Здесь, в Клубе кожевенников, я уже в раннем возрасте уразумел, что демократия—весьма привлекательная штука.

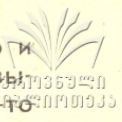
Два раза в неделю столики отодвигались к стене, из лавок составлялись ряды, и комната, именуемая Клубом кожевенников, превращалась в зрительный зал. Зрителями были все те же кожевенники и мы, мальчишки. Старый маэстро с длинными, как у Листа, до плеч волосами и с черным бантом на груди садился за пианино фирмы «Оффенбахер» с вырванными канделябрами и, выбросив вперед руки в грязных манжетах, начинал извлекать из клавиш, большая часть которых западала, свою универсальную музыку. О, стремительные пассажи и рыдающие аккорды в темноте, и стрекот киноаппарата за спиной, и пылинки, попавшие в сноп света, пересекающий зал!

Какие только фильмы я не видел в этом зале! Многосерийные и короткометражные, игровые и хроникальные, бытовые и экзотические, комедии, мелодрамы и фильмы ужасов. Прыгал с крыши вагона, спасаясь от погони, Гарри Пиль, душил очередную жертву похотивший на кобру Конрад Вейдт, простив любовнику измену и приняв яд, умирала, мерцая ресницами, Глория Свенсон.

...а может быть, не Глория Свенсон, а Норма Толмедж, или даже Франческа Бертини.

Но я немного хитрил, когда говорил, что стану кожевенником. Я мечтал стать шофером.

В конце мая в иные годы устанавливалась такая жаркая погода, что нас, учеников младших групп, отпускали на каникулы раньше срока. Прослышав, что предполагается нас распустить, мы делали вид, что



изнываем от жары, прямо-таки подышаем от нее. Но в самом деле было очень жарко. Теперь такой невыносимой жары не бывает; во всяком случае я что-то не слышу, чтобы из-за жары в школах прекращались занятия. Итак, наступала пора летних каникул, и все готовились к отъезду.

Мама еще зимой не раз говорила отцу, что следует подумать о лете. Вообще она считала, что обо всем следует подумать заранее. «То, что можно сделать сегодня, не следует откладывать на завтра». Эту фразу она повторяла так часто, что мне начинало казаться, будто человек, откладывающий на завтра то, что можно сделать сегодня, и впрямь никогда не принесет обществу никакой пользы. На предложение мамы подумать о лете отец неизменно отвечал, что согласен на любой вариант. С приближением лета грандиозные мамины планы становились скромнее, и в конце концов возможными вариантами оказывались Коджоры, Манглис, Кикеты¹, Цагвери, ну, еще Боржоми. Выбор чаще всего падал на Коджоры. До Коджор было километров двадцать, и отец мог приезжать к нам на воскресенье.

Переезду на дачу предшествовали сборы. Из чулана выволакивались чемоданы, корзины, хурджины, мафраш — огромный ковровый баул, в них постепенно укладывалось все, что было необходимо для нормальной жизни, а необходимо было многое: постельное белье, тюфяки, посуда — столовая и чайная, — керосинка, мясорубка и сковородки. В назначенный день, на рассвете, за нами приезжал восьмицилиндровый «Мерседес-Бенц» с открытым верхом — кабриолет, вся семья, заслышав звуки сигнального рожка, пронзительно чистые в предутренний час, бросалась к вещам, и хотя было оговорено, кому что надлежит брать, каждый хватал что придется и тащил на улицу. Пока мы грузились, шофер, похожий на марсианина, в поднятых на шлем больших очках, в перчатках с раструбами и в клетчатых галифе, заправленных в краги, прогуливался перед машиной. Мама, боясь, что я выпаду по до-

¹ В современном произношении — Коджори, Манглиси, Кикети — дачные места близ Тбилиси.

роге за борт, настаивала, чтобы я сел между нею и бабушкой, а я канючил, не соглашаясь, пока отец не прикрикивал, требуя, чтобы я уgomонился и прекратил пререкания. Когда страсти утихали и мама в последний раз пересчитывала чемоданы и корзины, и отец водружал нам на колени оставшиеся непристроенными узлы и пакеты, — шофер садился за руль, опускал очки на лицо и взмахивал перчаткой. Его помощник несколькими оборотами коленчатого ключа запускал мотор, спешно занимал свое место — рядом с шофером, и наша машина с привязанным к багажнику мафрашем, взревев, трогалась в путь.

В моем представлении Коджоры находились на краю света.

Однажды случилось так, что, выехав из города на рассвете, мы добрались до Манглиса к вечеру. Путь до Манглиса намного длиннее, чем до Коджор, тем не менее не превышает шестидесяти километров. Одолев крутые подъемы и бесчисленные повороты, благополучно миновав Табахмелы и Коджоры, наш «Линкольн» (на этот раз отец нанял «Линкольн») вырвался на простор высокогорных полей и, присмирив, покатил по ровной дороге, рассекая воздух знаменитой борзой на радиаторе. День выдался на славу. В бездонной синеве неба таяли сквозные облачка, верхушки чинар чуть клонились, овеваемые прохладой, над алеющими среди зелени маками конвульсивно порхали мотыльки. Ах, никто не мог предположить, какие неожиданности нас подстерегают!

Где-то на полпути от Коджор до Манглиса с нашим «Линкольном» начало твориться нечто невообразимое. Ни с того ни с сего он вдруг останавливался и так же беспричинно, рванув с места, бросался в погоню за обгонявшими нас машинами. Шофер пытался его урезонить, орудовал рычагами, нажимал на педали, — он продолжал поступать как ему заблагорассудится. Временами он стрелял, выбрасывая клубы черного дыма, причем впечатление было такое, что стреляет он во все стороны и что мы вот-вот взлетим в воздух. Наконец, отстрелявшись, он остановился, и на этот раз окончательно.

Мама была в полуобморочном состоянии, но сра-

зу же оправилась, как только отец обнаружил, что маффраш, привязанный веревками к багажнику, исчез. По всей вероятности, на одном из поворотов центробежная сила высвободила его из ослабевших от встряски веревок и он соскользнул на шоссе или даже свалился в ущелье. Огорчению мамы не было предела, и никакие уверения отца, что все пропавшие предметы он обязательно приобретет в городе и днями доставит на дачу, не способны были ее утешить. Шофер, осмотрев машину и посоветовавшись с помощником, позвал отца, и они вдвоем, шофер и его помощник, что-то ему начали объяснять, — отец молча слушал их, лишь изредка кивал головой. Потом он подошел к нам и сказал, чтобы мы сидели на местах и никуда не отлучались, они сейчас откатят машину к обочине и отправятся в ближайшую деревню за помощью.

Возвращения их я не дождался. Утомленный впечатлениями, я заснул, а когда проснулся, мы уже были в пути. Я было обрадовался, что едем, но то, что я увидел, выглянув из-за отцовской спины, повергло меня в отчаяние. Бедный наш «Линкольн»! Две пары буйволов лениво волокли по шоссе его бездыханную тушу. Он передвигался так медленно, что можно было, не рискуя отстать, соскочить на дорогу и шагать рядом. Впереди, свесив ноги, сидел на ярме восточного облика парнишка и подбадривал буйволов своими выкриками.

Отчаяние мое, однако, продолжалось недолго. Меня вдруг осенила мысль, что все события дня — и потеря маффраша, и неожиданное появление буйволов, и беснование нашего «Линкольна», в результате чего мы чуть не погибли, и его бесславная кончина — придают нашей поездке характер подлинного путешествия. Когда к вечеру подъезжали к Манглису, я даже был рад, что мы привлекаем всеобщее внимание. Местные жители, замерев от удивления, глазели на нас изо всех окон, а дети, выбежав на дорогу, показывали пальцами и покатывались со смеху. Стоя в машине, несмотря на протесты мамы, я поднимал руку, приветствуя их, как премьер-министр, и очень жалел, что нас не сопровождает эскорт мотоциклистов.

Эскорт мотоциклистов выплыл из более поздних воспоминаний; тогда о нем я и понятия не имел. Надо думать, впоследствии я видел кинохронику, в которой на меня произвел впечатление визит в чужую страну какого-нибудь Бриана или Ллойд-Джорджа.

Как известно, школьники делятся на тех, что отнимают завтраки, и на тех, у которых отнимают завтраки. Я принадлежал к тем, у которых завтраки отнимали. Большинство моих сверстников вообще относилось ко мне как к мальчику ущербному — хотя бы потому, что я писал стихи. В старших классах (когда мы подросли, группы вновь стали именоваться классами) положение изменилось. Сочинительство оказалось делом почетным. Руководство смекнуло, что на мне можно заработать. Был у школы свой чемпион по шахматам, был свой математик, вмиг решающий головоломные задачи, — почему бы школе не иметь своего поэта? И когда, закрыв глаза на тройки, которыми перстрел мой дневник, меня стали демонстрировать гостям, посещавшим нашу школу, мои сверстники в корне изменили свое отношение и ко мне и к поэзии в целом.

Я хочу рассказать об одном эпизоде, связанном с моим увлечением поэзией.

К тому времени, о котором идет речь, моим кумиром стал Маяковский. Он пришел на смену Демьяну Бедному и вытеснил его из моего сердца. Бедный был поэтом, и только, Маяковский же был поэтом с биографией, легендой. В десятом классе я уже прочел «Полутораглазого стрельца» Бенедикта Лившица, — книгу, сейчас, к сожалению, забытую, — и выпущенный в количестве семи тысяч экземпляров «Альманах с Маяковским». В них рассказывалось о бунтарстве футуристов, об их желтой кофте, о «Бубновом валете» и Бурлюке, о Хлебникове. Люди и события далекой эпохи вставали перед глазами, как в бинокле — приблизившись вплотную. Я жалел, что родился слишком поздно и упустил возможность быть к ним причастным.

В силу этого я пришел на школьный костюмированный бал в желтой кофте. На балу имело место все, что обычно имеет место на школьных балах. Помнится, было душно и пахло клеем. Я двигался в толпе то-

реадоров и арлекинов, непонятый, как Печорин, и когда члены жюри спросили, что должен означать мой костюм, — я ткнул себя пальцем в грудь и сказал: «Желтая кофта футуриста».

Эту желтую кофту мне припомнили очень скоро — когда принимали в комсомол. Выяснилось, что в рядах комсомола нет места для молодежи, страдающей мелкобуржуазными пережитками. Однако наш комсомольский лидер смилостивился и сказал, что двери комсомола для меня откроются, как только мелкобуржуазные пережитки я в себе изживу. Я не очень понимал, что должен для этого сделать, но пообещал, что сделаю это обязательно. Видимо, я это все-таки сделал, потому что через пару месяцев меня в комсомол приняли. Так из-за желтой кофты я попал в комсомол лишь со второго захода.

...Но первый костюмированный бал, в котором мне довелось участвовать, относится к более ранним годам. Учился я тогда, кажется, во втором классе. Собственно, это был не бал, а театрализованное зрелище, состоящее из серии живых картинок. Нас, малолеток, к участию в живых картинках не привлекали, мы представляли хор и комментировали то, что изображали старшеклассники. Старшеклассники, которым мы после уроков остерегались попадаться на глаза, изображали плантаторов и рабов, буржуев, рабочих и пламенных революционеров. Запомнились двое верзил из 8-го «б». Один изображал Капиталиста, другой — Рабочего. Рабочий с разъятой цепью на груди ходил за Капиталистом по пятам, готовый в любую минуту опустить на его цилиндр бутафорский молот. Капиталист с болтающимся на шпагате моноклем все время оглядывался — не отстает ли Рабочий? Они олицетворяли классовую борьбу и торжество мировой революции. Никаких тореадоров и арлекинов, разумеется, не было, как, впрочем, и желтых кофт футуристов.

Желтая кофта, в которой я красовался на балу, была всего лишь маминой домашней кофтой скорее табачного, нежели желтого цвета.

Мама сидит перед зеркалом, дует на пуховку, пудрится, вертит головой, проверяя — идут ли к новому платью серьги, и вся она такая нарядная и душистая, а отец в накрахмаленной сорочке с золотыми запонками стоит позади нее, повязывает галстук, — они собираются в театр. Я их уже не увижу до утра, мне хочется зареветь, но я сдерживаюсь, и мама, перед тем как уйти, торопливо целует меня в щеку, вернее, прикладывается щекой к щеке. Я остаюсь с бабушкой.

Мы с бабушкой остаемся одни коротать зимний вечер, она приносит из кладовки тарелку с орехами, изюмом и сушеной тутой, трещат в печи поленья, нам уютно и хорошо, и я забираюсь с ногами на тахту, которая уже вовсе не тахта, а подводная лодка, и мне не страшны никакие акулы и осьминоги. Над столом горит лампа с зеленым абажуром, окна зашторены, из океанских глубин я переношусь мысленно в далекие российские просторы, занесенные снегом, и мчусь в кибитке по бесконечному санному пути, сквозь метель. Ни занесенных снегом просторов, ни кибитки я никогда не видел, но они до того мне знакомы по иллюстрированному однотомнику Пушкина, что я даже слышу звон бубенцов и вой волков.

Тихо, чуть нараспев, бабушка рассказывает сказки, я слушаю и верю каждому ее слову, радуюсь, ликую от радости, когда охотники освобождают Красную Шапочку, и печалюсь глупости козлят, давших так легко обмануть себя. От избытка чувств я целую бабушку в щеку, ощущаю нежную дряблость ее щеки и осторожно провожу ладонью по ее голозе, по седым, почти невесомым волосам. Одна из сказок мне особенно по сердцу, и каждый раз, когда мы остаемся одни, я прошу бабушку рассказать ее. Это — сказка про кабиасов. На берегах озер, у подножия гор, в лесах живут кабиасы и с наступлением темноты выходят на большую дорогу вершить свои, кабиасовы, дела. Они небольшого роста, держатся стайками, у них вытянутые, как у мышей, мордочки; для устрашения они надевают на головы капюшоны, таращат глаза из круглых вырезков. Горе путнику, не разминувшемуся в поздний час с кабиасами! Они его заманят в свои владения, и тогда никакая сила его оттуда не вызволит... Бабушка рассказывает, гаснет в печи огонь, веки мои

постепенно тяжелеют, я засыпаю и, засыпая, прихватываю в свой сон пару пистолетов и длинное ружье, полученное в подарок на Новый год, — на случай встречи с кабиасами.

Утром на тумбочке рядом с кроватью я нахожу плитку шоколада с замысловатой картинкой, изображающей охоту на зайцев. Зайцы, преследуемые борзыми, разбегаются во все стороны, а два охотника стоят, вскинув ружья, из стволов которых вырываются куски пламени. Подпись под картинкой предлагает обнаружить среди кустов и деревьев третьего охотника.

Сказка про кабиасов была нашей с бабушкой сказкой, и мы, случалось, пугали друг друга, заговорщически водя ладонью на уровне колена и тараща глаза. С тех пор о кабиасах я ничего не слышал. Каково же было мое удивление, когда через много лет упоминание о кабиасах я нашел у Ю. Казакова — в рассказе, который называется «Кабиасы». Вспомнились мне длинные зимние вечера, и страхи мои, и круглый стол под зеленым абажуром, и отблески огня на стенах отчего дома. Любопытно, что за эти годы кабиасы почти не изменились, остались такими же, какими были в пору моего детства.

— Сколько раз я тебя просила не брать эту гадость в рот, — говорит мама.

Я молча продолжаю жевать.

— Ты слышишь? — спрашивает она. — Выплюнь сейчас же!

Я перестаю жевать, но не выплевываю.

— Нет, ты выплюнь. — Она берет меня за руку и подводит к перилам веранды. — Ну?!

Вобрав в себя воздух и сложив губы трубочкой, я выстреливаю жеваным комочком как можно дальше.

Сцена эта повторяется изо дня в день, сценарий заранее известен и мне и маме.

С утра я и Петька — сын вдовы-хозяйки, у которой второй год наша семья снимает комнату, отправляемся бродить по окрестностям Манглиса — удить рыбу в Алгетке, скитаться по лесу. Мы с Петькой од-

ногодки, однако относится он ко мне покровительственно, с крестьянской вежливостью к гостю. Ему доставляет удовольствие делиться со мной своим опытом, посвящать меня в премудрости сельской жизни, и хотя порой он удивляется, что мне неизвестны элементарные, по его мнению, вещи, в голосе его нет ни упрека, ни похвальбы.

Нет, не Петька приобщил меня к великой армии жующих смолу. Я и до Петьки жевал ее и даже покупал в мелких лавчонках — завернутую в фольгу. Но Петька научил — как самому добывать ее. Янтарную смолу, застывшую на стволе сосны, аккуратно снимают ножиком и, покатав в ладонях, отправляют за щеку. Поначалу привкус хвои неприятен, но потом — то ли он исчезает, то ли привыкаешь к нему — наступает блаженное состояние, когда не в силах ни выплюнуть комочек, ни прекратить жевать его. Все мальчишки нашей школы и все мальчишки других школ жевали смолу, да что мальчишки! — взрослые дяди жевали ее до одурения... Всех этих «ринглейзов» и «тутти-фрутти» тогда и в помине не было, о существовании жвачной резины мы и не подозревали, мы с утра и до вечера жевали смолу, и называлась она тогда — кэва.

...вот и умер Юрий Казаков, так я с ним и не познакомился.

Старая часть города напоминала Багдад. Восток жил в многоязычном, пестром и крикливом Майдане. Майдан — это город в городе. Его населяли ремесленники и торговцы. Здесь весело работали и шумно торговали. Стучали молоточками чеканщики, и вспыхивали в их руках газыри, как осколки солнца; раскачивали утюги портные, дули на угли, и рвались из утюгов фейерверки искр во все стороны; водовозы предлагали кружку воды, которая, если им верить, была слаще меда и шербета; тачали сапоги сапожники, уверяя, что такие сапоги носил сам граф Воронцов-Дашков; на виду у всех мылили щеки клиентам цирюльники, перебрасывались шутками с толпящимися вокруг зеваками; в кузнях громовержцы ворочали раскаленным железом и били молотом, и от каждого уда-

вроде планшета, на шнурке, перекинутом через плечо.

Его бронзовое тело, обожженное солнцем и ветрами, отличалось скульптурной завершенностью, во всем его облике чувствовались спокойствие и сила. Длинные волосы, ниспадающие до плеч, грустный взгляд и застенчивое достоинство, с каким он держался, делали его похожим на вождя индейского племени. Взрослые нас уверяли, что бояться его не следует, но, веря им, преодолеть чувство робости мы все же не могли.

Сумбат не был нищим — он честно зарабатывал свой хлеб. Он умел многое — выбивать ковры, рубить дрова, даже стирать белье, и всегда у кого-нибудь из жильцов находилась для него работа. Никаких условий он не ставил и, получив деньги, уходил, не выражая ни недовольства, ни благодарности. Иной раз, если он задерживался допоздна, оставался ночевать и спал в сарае, подложив планшет под голову.

В середине тридцатых годов Сумбат исчез; прошел слух, что он вовсе немым и не был, прикидывался им, являясь то ли немецким, то ли японским шпионом. Думаю, умер он под забором.

Вдруг заболел дядя, младший брат отца, врачи посоветовали вывезти его в Крым, и маме таким образом выпал случай осуществить давнее желание — поехать летом на море. Были срочно опрошены знакомые и знакомые знакомых, которые бывали в Крыму или обладали о нем какими-либо сведениями. Все наперебой советовали ехать в Ялту, и на семейном форуме было решено, что только в Ялту и надо ехать. За год до этого там было знаменитое ялтинское землетрясение, но люди сведущие уверяли, что землетрясения не имеют привычки происходить два года подряд в одном и том же месте... Путешествие в Ялту по тем временам было предприятием нешуточным. Путь лежал через Баку, Дербент, Ростов, Синельниково, в Синельниково пересадка на Симферополь, а уж от Симферополя до Ялты рукой подать — на автобусе. Проще было, конечно, ехать до Батуми, а там — морем, однако вероятность шторма, могущего пагубно отразиться на здоровье дяди, делала этот маршрут

неприемлемым. К тому же мама с недоверием относилась к пароходу — огромной машине, которая непонятно каким образом держится на воде.

В начале июня мы всем семейством отправились в Ялту, прихватив с собой мою кухню из Ленинакана, который бабушка по привычке продолжала называть Александрополем.

В Синельниково пришлось ночевать в зале ожидания. Я спал на составленных в углу чемоданах и, проснувшись от яркого солнца и вокзального гомона, вспомнил, как вчера выгружались из вагона — в дождь и в темень. Все уже были на ногах. Мы с отцом отправились за кипятком, мама крикнула нам вслед, чтобы не задерживались, когда же вернулись, все было готово к завтраку. Бабушка раздала тарелки и салфетки, и мы, устроившись на чемоданах, держа тарелки на коленях и засунув салфетки за воротник, комфортабельно позавтракали; это была комфортабельность пассажиров третьего класса. Синельниково, может, не сохранилось бы в моей памяти, если бы не фраза, произнесенная в наш адрес случайным попутчиком. Их было двое, дожидавшихся, как и мы, поезда на Симферополь, они с утра начали пить — попеременно, из горлышка, и один из них, искоса поглядывая на наш табор и прислушиваясь к нашему — на непонятном ему языке—крикливому разговору, произнес почтительно: — Хоть и цыгане, а чистые!

Фраза эта нас очень позабавила, и впоследствии, рассказывая о нашем путешествии знакомым, не забывали ее упомянуть.

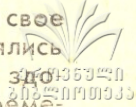
Море меня восхитило и напугало; восхитило издали, напугало вблизи. Сперва оно мелькало между придорожными постройками, между лавровыми деревьями и кипарисами, но с каждым витком спирали, по которой мчался наш автобус, набирая высоту, оно постепенно увеличивалось, раздавалось вширь и наконец распахнулось — от края до края. Все пространство, которое способен был охватить мой взгляд, было заполнено морем. Кончается ли оно на горизонте или простирается еще дальше — значения уже не имело. Я, как замороженный, глядел на море и не мог

произнести ни слова. Такого количества воды я никогда раньше не видел.

В первый же день нашего пребывания в Ялте отец повел меня на пляж. Он вошел в воду по пояс (плавать он не умел) и поманил рукой, предлагая последовать его примеру. Меня обуял такой страх, что ноги мои, казалось, приросли к камням. По одну сторону был я — тщедушный и голый, по другую — огромное море, готовое меня поглотить. Когда же отец, выйдя на берег, взял меня за руку и попытался подвести к морю, я завизжал и стал вырываться.

Прожив в Ялте несколько дней и устроив наш быт, отец уехал, пообещав вернуться за нами в конце лета. Он и вернулся — в последних числах августа. К этому времени я уже плавал не хуже городских мальчишек, с которыми подружился, заплывал за буюк, что категорически запрещалось, даже обладал коллекцией самолично поднятых с морского дна сердоликов. Я часами не вылезал из воды, а потом, обессиленный, валился на камни — с посиневшими губами, еле переводя дыхание... Мама сразу же пожаловалась отцу, что я вконец расшатал ее нервы, что все три месяца только и делал, что каждый день рисковал своей жизнью. Отец произнес несколько принятых в подобных случаях сентенций, демонстрируя перед мамой, что он с ней солидарен. Я с нетерпением ждал момента, когда мы с ним пойдем на пляж. Это случилось на следующий день, и тут я, разбежавшись, плюхнулся в воду и со всей лихостью показал отцу на что способен. Я плыл и брассом, и кролем, и по-собачьи, и отдыхал на спине, и делал стойку—так, что из воды торчали одни мои ноги. Я нырнул и продержался под водой столько времени, что, пожалуй, установил мировой рекорд. «Вот шельмец!» — сказал он, когда я вышел на берег. Еще он сказал, что мама была права и чтобы я не смел больше нырять и заплывать далеко, но глаза его светились плохо скрываемой радостью и выражали гордость и восхищение.

Нечто подобное в отцовских глазах я увидел еще раз — через много лет. Он лежал в больнице, и врачи не оставляли никаких надежд на выздоровление. Моя первая книжка рассказов вот-вот должна была выйти в свет. Так получилось, что шел я к ней долгих два



десятилетия. Сверстники мои давно уже нашли свое место в жизни, и знакомые при встрече не справлялись о моих литературных делах, как не спрашивают о здоровье у тяжелобольного человека. Я время от времени помещал десятистрочные информации в газетах и упрямо писал рассказы — по ночам. Отец ни разу не упрекнул, что я напрасно перевожу бумагу, он все еще продолжал в меня верить... Краснея от смущения, переминаясь с ноги на ногу, я выпросил у редактора на несколько часов полученную утром верстку и стремглав помчался в больницу. Я подсел к изголовью койки и, еле сдерживая ликование, развернул на ладонях рассыпающиеся страницы, пахнущие типографской краской. Отец засуетился, сел, приподнявшись на локтях, поудобнее и, забрав верстку, начал медленно и внимательно листать ее. Потом он вздохнул и задумался. Я молча ждал. Вдруг лицо его озарилось улыбкой и он мне подмигнул — молодо и весело, и это означало, что мы победили.

Будучи ли с экскурсией в сказочном дворце эмира Бухарского, глядя ли задумчиво на вершину Ай-Петри, или рассматривая в Чуфут-кале таинственный мавзолей Джанике-ханым, моя кузина равнодушно произносила: — Точно как у нас в Ленинанкане.

Крымский воздух, солнце, море и виноград вытеснили из дядино организма всю хворь, зарядили нас на зиму запасом здоровья, и обратный путь мы совершили морем. Сдав багаж, мы цепочкой, держась друг за друга, поднялись по трапу на двухтрубный и двухъярусный красавец пароход — лучший пароход Черноморского пассажирского флота. Он был назван именем немецкого социал-демократа, историка и философа Франца Меринга, к которому я тотчас же проникся чувством глубокого уважения.

После Ялты я попал в Батуми — года через три. Отец уезжал туда в командировку, и я упросил маму велеть ему взять меня с собой. Мы прожили в Батуми четыре дня. С утра отец отправлялся по делам, наказав мне не отлучаться из гостиницы; до его возвращения я валялся на кровати, ел фрукты и читал

Майн Рида. Так что дневного Батуми я, можно сказать, и не видел. Но вечерний запомнился навсегда.

Он запомнился каким-то безудержным ликованием и ощущением непреходящего праздника. По нарядным улицам, освещенным лампами, под высокими пальмами, мимо огромных агав, непрерывно двигался поток фланирующей публики; в порту стояли греческие, итальянские и французские пароходы, и подвыпившие матросы гуляли по набережной в обнимку с девочками, распевая песенки на непонятном мне языке. Французские матросы выделялись среди толпы своими белыми беретами с красными помпонами на макушке. Всюду — в парках, в садах, в скверах — надрывно звучала музыка, из распахнутых дверей кофеен и ресторанчиков доносились мелодии модного тогда Сарасате. И всюю шла почти неприкрытая торговля контрабандой. Помню, к отцу подходили какие-то подозрительные личности, но он, опережая их, отрицательно качал головой, и они исчезали. Однако мы все же привезли маме пару фильдекосовых чулок и пудру «Лориган» фирмы Коти — круглую золотистую коробку с множеством нарисованных на ней маленьких пушков.

Нэп, как я потом понял, задержавшись на юге, доживал свои последние дни.

Во все зеркало сцены на занавесе был изображен летящий по диагонали конь с распростертыми серебрястыми крыльями. Копыта его утопали в облаках, под которыми, далеко внизу, оставалась Земля, конь же весь был устремлен ввысь — навстречу Солнцу, его золотым лучам. Мне никогда не доводилось видеть крылатых коней, но отец мне шепнул, что это — Пегас, и я понял, что именно крылья отличают Пегаса от лошадей, которых я ежедневно встречал на нашей улице.

Будущее представлялось бесконечным периодом вольготной жизни. В той жизни, которая наступит, когда я вырасту, я каждый день, думалось мне, буду ходить в театр.

С момента, когда становилось известно, что меня в воскресенье поведут в оперу на утренний спектакль, никакие невзгоды не способны были омрачить мое существование. В день спектакля я просыпался чуть свет и торопил маму, боясь, что опоздаем. Знаменитая лестница, спускающаяся в партер, казалась дорогой в рай. Огромная люстра под потолком освещала четырехъярусный зал, который весь был полон чудесным гомоном, возникающим из шарканья ног, коротких перебранок, листанья программки, радостных приветствий, шепота билетерш, щелканья дверец лож бенуара и, конечно же, из доносящейся из оркестровой ямы разноголосицы настраиваемых инструментов. Упустить эти минуты ожидания и явиться на спектакль лишь к самому началу его для меня и означало — опоздать в театр.

Свет в зале медленно гас, за освещенным пюпитром возникал дирижер и, взмахнув палочкой, замирал в ожидании абсолютной тишины. Скажу по совести, увертюра для меня представляла интерес, если она была бравурной. В противном случае я порядком скучал. Подперев голову рукой, я делал вид, что наслаждаюсь музыкой, однако никакого душевного трепета, как ни силился, не испытывал. Но вот последние звуки увертюры затухали, занавес, на котором был изображен Пегас, с легким шелестом уползал вверх, и тогда начиналась жизнь — волшебная и ни с чем не сравнимая.

Как и следовало ожидать, меня отдали учиться музыке. Мнения моего никто не спрашивал, считалось, что все дети не хотят учиться музыке, но потом из них получают знаменитости. Два раза в неделю я бегал на урок — с огромной черной папкой с надписью «M^usik» и барельефом Вагнера в берете. В течение трех лет старушка старалась добиться от меня одного — чтобы пальцы моей правой и левой руки давили на клавиши рояля одновременно. В конце третьего года, разочаровавшись в старушке, меня от нее отобрали и повели на Вельяминовскую, к известному профессору Карабегову. Мама сказала, что он умеет справляться и не с такими, как я. Профессор, проэкзаменовав меня, долго молчал, потом, чеканя каждое слово, произ-

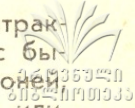
нес приговор, который меня спас и с которым мои родители еще долго не могли примириться.

041935940
8024010033

Мой старший двоюродный брат учился в балетной школе. Этого было достаточно, чтобы в нашей семье царил дух театра. Разговоры о театре и театральных сплетнях не умолкали. Школа, в которой учился Сергей, пользовалась безупречной репутацией. Когда он сообщал нашим гостям, что учится у Перини, то даже те из них, которые ни разу не бывали в балете, понимающе кивали головами. О требовательности Перини и о ее крутом нраве в городе ходили легенды. Говорили, что за малейшую провинность она жестоко карает учеников, бьет их палкой. Мне было очень жаль Сергея и его друзей, которых в моем воображении мучили и истязали. Я никогда не видел Перини, она мне представлялась Медузой Горгоной или чем-то в этом роде.

...мы с Сергеем стоим на тротуаре против оперного театра — там, где теперь магазин «Саундже», и весь Головинский проспект полон народом, смотрят из окон, с балконов, и когда Сергей поднимает меня на руки, я вижу море голов, цветы, бесконечную вереницу венков. Со стороны театра, с его центральной лоджии доносятся звуки оркестра, ораторы, сменяя друг друга, произносят речи, потом появляется человек и начинает петь, и в толпе кто-то говорит: «Это Мигай», и я догадываюсь, что это фамилия человека, который поет. Слабо греет осеннее солнце, и дует ветер, и Сергей в экстазе шепчет: «Это безумие. При таком ветре он сорвет голос». Мне пять лет, я присутствую на событии: скорбном и торжественном, на похоронах великого артиста Вано Сараджишвили.

Когда я подрос, мне купили абонемент и я посещал оперу уже самостоятельно — два раза в месяц, а сверх того при каждом удобном случае. Господи, сколько надежд и разочарований, радостей, обид и мгновенных влюбленностей было связано с этим причудливым зданием в мавританском стиле, с его партером, обитым темно-голубым, почти синим бархатом, с узкими коридорами-фойе, с его галеркой для конт-



рамарочников! Здесь назначались свидания, в антрактах мы восхищались и негодовали, спорили; у нас были свои божества, мы им хлопали, не жалея ладоней, ораторали, перевесившись через барьер: «Бадридзе!» или, растягивая первый слог: «Ни-и-нуа!». Мы бушевали, не сбиваясь на скандирование, — тогда мы даже не знали, что это такое.

Вовек не забыть неистовство переполненного до предела зала после «Кармен» — спектакля, в котором ленинградская знаменитость Сергей Мигай исполнил партию Эскамильо — всю, от начала до конца, на грузинском языке.

Были спектакли, на которые нас, подростков, не пускали. Как я ни старался усыпить бдительность контролерш, но на «Самсона и Далилу» с Фатимой Мухтаровой, где она, как говорили, в сцене обольщения появлялась чуть ли не обнаженная, я так и не попал.

Ольга Нинуа обладала всем, о чем может мечтать актриса: талантом, молодостью и красотой. Сценическая жизнь ее была недолгой. Она ослепла, и часами глядела незрячими глазами на улицу, сидя у окна, под которым иногда собиралась молодежь — ее вчерашние поклонники и поклонницы. Она жила в бельэтаже небольшого дома на тихой улице в районе Хлебной площади, и теперь минуты беседы с людьми, которых она никогда не видела и уже никогда не увидит, были для нее самыми счастливыми. После одной из бесед, как бы в благодарность за внимание к ней, она, стоя в окне, спела — без аккомпанемента — свою коронную арию, предсмертную арию Виолетты. Кончив петь, она упала в кресло, — те, что стояли под окном, не поняли, что произошло, и заплодировали. Она умерла, как и должна умирать актриса — под аплодисменты.

На Головинском проспекте, неподалеку от Арсенала, возвышалась глыба Военного собора. В нем я ни разу не был, только знал из рассказов взрослых, что во время богослужения там зажигаются электрические лампочки и тогда как бы оживают батальные сцены, изображенные на стенах. Стоило мне, проходя мимо

собора, задрать голову и взглянуть на его тяжелый купол, испачканный голубиным пометом, как я, и без того маленький, сразу же превращался в букашку. Мне больше нравилось рассматривать пушки и ядра, симметрично расставленные перед входом и по преданию отбитые у Шамиля. Летними вечерами на широких гранитных ступенях собора появлялся старичок — видимо, член какого-нибудь общества атеистов, и, установив на треноге телескоп, предлагал празднующейся по проспекту публике посмотреть на небо и убедиться, что никакого бога нет, а есть только планеты и звезды... Я вручил старичку десять копеек, чтобы взглянуть на Сатурн; в тот вечер он почему-то советовал всем взглянуть именно на Сатурн. В глубине души тлела надежда, что мне даже удастся заметить живые существа, копошащиеся на Сатурне. Однако ни Сатурна, ни его колец я не увидел. Я шарил телескопом по всему небу, но не видел ничего, кроме огромной черной дыры. Старичок все повторял, что я смотрю не туда, и в конце концов прогнал. Я ушел, усомнившись в существовании Вселенной и заподозрив старичка в подвохе.

Когда солнечным утром я проходил по Грибоедовской, мимо Консерватории — слышал звуки хроматических гамм, доносившиеся из открытого окна. Там в просторном классе большеголовый мальчик с голубыми прожилками на лбу — он мне представлялся именно таким — сидел за роялем и часами играл гаммы. У меня впереди был бесконечный день, полный непредвиденных событий, а ему, прикованному к роялю, рассчитывать было не на что, он был обречен играть гаммы с утра и до вечера... Через полвека, проходя мимо Консерватории, я вновь услышал звуки хроматических гамм, и вдруг абсурдная мысль мелькнула в сознании — не сидит ли за тем же роялем и не играет ли гаммы все тот же большеголовый мальчик?

... потом собор снесли, да и старичок исчез.

Жора Берман жил у самого подножия Мтацминды, рядом с нижней станцией фуникулера. С балкона его дома можно было рассмотреть лица пассажиров, сидя-

щих в вагонетке. Берман-папа и Берман-мама, как мы в школе называли его родителей, держали кондитерский магазин в Сололаках¹, тряслись над своим поздним ребенком и, надеясь, что от общения со мной он наберется ума-разума, одобряли нашу дружбу. Но Жора не был таким уж оболтусом, каким он им казался. Он читал романы приключений, иронизировал над родителями-нэпманами и в доказательство своего неприятия мещанского духа, который царил в их семье, украдкой таскал для нас из дома пирожные и конфеты. Его любимым героем был Робин Гуд.

Я заходил за Жорой и мы отправлялись гулять. Конечным пунктом наших прогулок была церковь Св. Давида. Мы добирались до нее по пешеходной тропе и, расположившись у могилы Грибоедова, обозревали город. С непонятной грустью мы смотрели на Куру, пересекающую город, на дальние горы, по которым скользили тени облаков. Здесь было тихо и отрешенно, только безумолчно трещали цикады, да птицы щебетали в ветвях тополей. Иной раз в белесом от зноя небе проплывал сдвоенный крестик аэроплана. В созерцательном безделье мы предавались мечтам о нашем будущем, обставляя его атрибутами давно минувших времен. В этих мечтах нас ожидали рискованные приключения, тайная любовь и преданная дружба, встречи и расставания, подвиги и слава...

Наши прогулки к церкви Св. Давида мы называли «не дальше Грибоедова». Так мы их называли потому, что Берман-мама, отпуская нас гулять, неизменно говорила: «Но имейте в виду — я разрешаю не дальше Грибоедова!» Грибоедов был рядом, ее старым знакомым, чуть ли не членом семьи.

Пешком на Мтацминду можно подняться не только по тропе, напоминающей латинское S. Можно подняться и по каменным ступенькам, выложенным вдоль рельсов фуникулера. Однажды я выбрал этот путь, ужас какого страху натерпелся и дал себе слово больше такой глупости не делать.

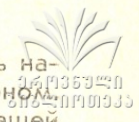
Взрослые полагали, что Мопассан может быть понят мной превратно, но я украдкой все же читал его,

¹ Ныне — Сололаки — старинный район в Тбилиси.

а заодно и переводные низкопробные романы, которые в изобилии поставлялись на книжный рынок всякими акционерными издательствами. Читатели моего поколения помнят эти книжки в мягкой обложке, изданные на газетной бумаге, неряшливо, со множеством опечаток. Ко мне они доходили уже зачитанными и замусоленными. События в них происходили на дальнем Западе или крайнем Востоке, в центре цивилизации или в первобытных джунглях. В них действовали обольстительные женщины, великосветские шалопаи, международные гангстеры, дураки-миллионеры и девушки из простонародья... Недавно на глаза мне попался один из этих романов, я сразу, по одной обложке узнал его и, несмотря на высокую цену, поставленную букинистом, не удержался и приобрел.

...и все это чтиво, определяемое нами словом бульварщина, соседствовало и каким-то странным образом уживалось рядом с великой литературой. Открывая для себя огромный, непознанный мир, я с одинаковой жадностью читал и Шиллера и, допустим, Оливию Уэдсли.

Вернувшись из школы и швырнув портфель на подоконник, за которым обычно готовлю уроки, я, давась, завтракаю и, не слыша, что кричит мама вслед, сбегая по лестнице во двор, где сверстники мои уже в сборе и уже распределяют роли — кому изображать казаков, кому разбойников. Меня встречают радостными возгласами и обращаются, как к высшей инстанции, для решения спорных вопросов. Нас двое — предводителей дворовой ватаги — я и Алеша В. Без нас не обходится ни одна игра. Более того, любые начинания исходят от нас. Однажды мы провели первомайскую демонстрацию — по примеру взрослых. Запаслись загодя красками, картоном, лоскутами кумача; кто писал плакаты, кто мастерила флажки, кто клеил цепи из разноцветной бумаги — все были в восторге от нашей затеи. В день Первомая перед собравшимися во дворе ребятами я с лестничной площадки произнес речь, в которой призывал к мировой революции, после чего мы праздничной колонной про-



шли до Пушкинской, но вынуждены были свернуть назад, не пропущенные далее милицейским кордоном. Прохожие останавливались и глядели, умиляясь нашей сознательности.

Бывало, мама мне поручала сбегать в лавку к Андронику, чаще всего — за керосином. Без керосина жизнь казалась невозможной. Сегодняшние дети, вероятно, весьма смутно представляют, как выглядит керосин, и совсем уж не знают, как прекрасно он пахнет. В москательной лавке Андроника все было пропитано керосиновым запахом, да и сам Андроник был пропитан им. Запах этот слегка дурманил голову и вызывал в воображении картины несбыточных межпланетных путешествий. Струя керосина ударяла в двухлитровую кружку, которую Андроник опрокидывал в огромную воронку, вставленную в протянутый мной конусообразный бидон. Воронка закипала лилово-радужными пузырями, они мгновенно лопались, но и этих мгновений было достаточно, чтобы на сферической поверхности пузырярей округленно отразились оконный переплет, деревья у тротуара, ослик, нагруженный кувшинами мацони. Я немедленно забегал в находящуюся рядом, в двух шагах, лавку восточных сладостей и на выторгованный у мамы гривеиник покупал вязкую нугу, обклеенную с двух сторон промасленной калькой, или мамало — леденцового петушка на палочке. Крашенный бог знает чем, он обладал сладковатым ароматом грушевой эссенции, мама запрещала мне его покупать, она боялась, что я отравлюсь, и вообще мальчику из порядочной семьи не подобало облизывать мамало.

Мало кто помнит, что был такой праздник — День ромашки. Праздновался он весной; в этот день на улицах к прохожим подходили девочки в белых передничках, поздравляли с праздником и прикалывали на грудь пластмассовый значочек, изображающий ромашку. Потом они встряхивали копилкой, напоминая, что вам следует опустить туда несколько монет. Собранные деньги шли в помощь туберкулезным больным и бездомным детям, и каждому хотелось, чтобы к его груди прикололи ромашку — символ милосердия.

Алеша В. — это Алеша Вепхвадзе; я был тогда на два старше него, и в те времена, когда всем жилось трудно и недостаток в семье не почитался явлением зазорным, мои рубашки и штанишки, из которых я выросал, постепенно переходили к нему. Затем, вероятно, они переходили еще к кому-либо, отуженные и заштопанные. Не имея братьев, мы росли как братья и не чаяли души друг в друге. Конечно, не обходилось без размолвок. Он был легко раним, беспомощен в споре и нетерпим к возражениям. Сознавая свое старшинство, я старался его не обидеть, он же мне, единственному, прощал то, чего не простил бы никому. Нашу дружбу мы бережно пронесли через всю жизнь. Время нас разбросало по разным городам, порой мы не виделись годами, но я всегда знал, что в любой день скажи ему — мне надо, чтобы ты приехал, — он, не раздумывая, бросит все и примчится, даже не спросив, какая в том нужда? Раз надо, значит что-то стряслось, тут уж не до раздумий и расспросов. Однажды, когда мы уже были седыми, я обнял его за плечи и хотел произнести какие-то добрые слова, но он в смущении отмахнулся — мол, ладно, ладно, ведь и без слов все ясно. Все ясно и без слов, дружище, все в порядке... В салоне самолета, покрывая за два часа расстояние в две тысячи километров, чтобы отдать Алеше последний долг, я думал о том, что, в сущности, покрываю расстояние протяженностью в шестьдесят лет.

Я уехал в Москву, Алеша в Ленинград к профессору Р. Р. Френцу — учиться живописи. Встречались мы в Тбилиси, в дни каникул. В доме на Руставели, куда переехали Алешины родители, жил по соседству бывший царский генерал. Он часами сидел на балконе, безучастно глядя на улицу вылезавшими из орбит склеротическими глазами, и постоянно что-то бормотал. В дни празднеств он появлялся в побитом молью мундире — без погон, но в регалиях. Однажды я прибежал к Алеше, не зная, что он спешно выехал в Ленинград, и по тбилисскому обычаю, не входя в подъезд, стал с улицы выкликать его имя, сложив ладони рупором. Генерал вышел на балкон, переставляя длинные негну-

щиеся ноги, и, щелкнув каблуками, с уважением произнес:



— Алексис в Петербурге.

Этой фразой он и остался в нашей памяти.

...работа Алеши, за которую он получил диплом с отличием, — «Ранение князя Багратиона на поле битвы» и по сей день висит в зале Панорамы Бородинского сражения в Москве.

В доме было несколько книг, купленных по случаю, и среди них один из томов дореволюционного «Чтеца-декламатора». С декадентской поэзией начала века я познакомился по этому тому и с завистью смотрел на помещенные в нем портреты Бальмонта, Сюлли-Прюдона и д'Аннунцио. Даже Ротгауз вызывал мое восхищение. Я бубнил на память сотни стихотворных строк, помню, например, до сих пор строки, не знаю — чьи: «Они стояли молча, и плакала она. И тихо плакал вечер у темного окна. И улица рыдала огнями фонарей...»

Фонари, огнями которых рыдала улица, мне очень нравились.

Дни, которые я проводил в школе, были однообразны, и запомнились чрезвычайными происшествиями. Но класс наш не отличался озорством, и происшествия случались редко. Да и заключались они в глупых и жестоких шутках, которые издавна известны всем школьникам. То ли дело, когда, сказавшись больными, некоторым из нас удавалось освобождаться от уроков и отправляться за город. В эти безмятежные дни мы могли делать все, что нам заблагорассудится: подняться на Мтацминду, или, сидя на подножке товарного вагона, уехать в Дигоми, или плескаться в Черепашьем озере. К вечеру мы возвращались домой со смиренным выражением на челе — усталые, голодные и счастливые. Каждый из этих дней запомнился, не померкнув.

Отец служил в спортивном обществе «Динамо» и раз в месяц получал паек. По меркам сегодняшнего дня семья наша жила бедно, но в мире, который нас окружал, многие жили беднее. Для всех нас, детей, початки вареной кукурузы, продающиеся на Дворцовой ули-

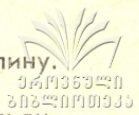
це прямо с дымящегося лотка, являлись лакомством. Я уже не говорю о французской булке с обильно политой горчицей парой горячих сосисок, которую можно было купить у Оперного театра. Мы носили то, во что нас одевали, и никому из нас не приходило в голову просить родителей приобрести нам какую-нибудь дорогостоящую вещь. Просить вообще было стыдно. Когда мы с отцом, гуляя по Муштаиду, проходили мимо кондитерского ларька, я старался не смотреть на куски любимого мной бисквита, посыпанные сахарной пудрой. Но отец, догадываясь о моем желании, всегда покупал мне кусок этого толстого, канареечно-желтого бисквита или треугольник не менее вкусного микадо—вафельного пирожного с шоколадной прослойкой.

И вот мне подарили «Фотокор». Такое счастье еще не выпадало ни одному из ребят нашего двора. Новенький, пахнущий дерматинром, он стоял передо мной на треноге, поблескивая металлическими деталями. Фокусировка устанавливалась движением гармошки, скользящей по полозьям. Кадр предварительно проверялся на матовом стекле, которое затем сменялось кассетой. Вставив кассету, следовало крышку ее поднять до отказа, и только тогда, торжественно предупредив: «Снимаю!» — нажать на тросик, привинченный к объективу. Остановленное мгновение запечатлялось на века.

...первый, кого я сфотографировал, был Алеша.

...французская булка, ласкательно — франзоля, нынче именуется городской.

Дедушку убили грабители — задолго до моего рождения, в 1907 году. Никакими сведениями о нем я не располагаю, знаю только, что он был выходцем из Ахалциха, держал лавку на Армянском базаре, в районе бань, торговал пряжей. Грабители явились в лавку днем, возмущенные, что он не откликнулся на их анонимное письмо и не оставил в указанном месте пакет с деньгами. Не раздумывая, он огрел одного гирей по голове, другого ударом в живот повалил на пол, но их все же было трое, а он—один. Началась драка. Поняв, что ему их не одолеть, он выбежал на улицу.



взывая о помощи. Тогда они выстрелили ему в спину. Он бежал, а они продолжали стрелять.

Бабушка говорила, что он был росл, по-крестьянски крепок и обладал недюжинной силой. Этому верить можно — хотя бы потому, что иначе он не смог бы с пятью пулями в спине пробежать весь Армянский базар, свернуть на Серебряную¹ и рухнуть лишь у ворот своего дома.

Совсем молодой женщиной бабушка осталась одна с двумя детьми на руках. Был учрежден опекунский совет из числа ближайших родственников, которые, ликвидировав лавку и распродав оставшийся товар, вручили бабушке сумму, достаточную, чтобы воспитывать детей, сводя концы с концами. Правда, через некоторое время кое-кому из членов совета удалось обзавестись своим собственным делом.

Двое из моих многочисленных дядьев будоражат мое воображение. В живых я их не застал, знаю о них из рассказов родителей. Один, сводный брат мамы, был личностью, с моей точки зрения, весьма примечательной: кутила и забияка. Всю неделю он торговал на рынке зеленью и овощами, по воскресеньям отправлялся в Ортачалы² — пропивать выручку. Он был человеком добрым, веселым, необразованным, даже невежественным, и обладал собственным пониманием чести и достоинства. Он, например, считал своим долгом принять участие в любой потасовке. Его привлекала сама стихия междоусобицы, возможность продемонстрировать свою удаль. Поэтому в день своего замужества мама вся была в тревоге — как бы он не учинил скандала, придравшись к какому-либо неосторожному слову. Однако он оказался на высоте, был со всеми учтив, предупредителен. К дому жениха он подкатил на трех фазтонах; на сиденье первого покоились его сучковатая палка и картуз, во втором, горделиво поглядывая по сторонам, ехал он сам, в третьем помещались дары — бурдюк с вином, живой барашек, вся-

¹ Армянский базар, Серебряная улица — кварталы в торговой части старого Тбилиси.

² Ныне — Ортачала.

кая снедь... Он мне мерещится среди пирующих в Ор-
тачалах — каждый раз, когда я смотрю на полотно Пи-
росмани.

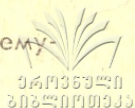
Второй из них приходился дядей не мне, а моему отцу — был младшим братом дедушки. Упомянув его, все в семье говорили — дядя. Этот являлся человеком совершенно другого порядка: фат и краснойбай. Одевался он у лучших портных города, носил котелок, любил женщин и мечтал разбогатеть. Все его финансовые начинания завершались крахом. Но неистребимое жизнелюбие не давало ему возможности впасть в уныние. Не успев рассчитаться с кредиторами, он затевал очередную авантюру — в уверенности, что на сей раз фортуна ему улыбнется. Появлялся он в доме бабушки всегда неожиданно. Большею частью это случалось тогда, когда ему перепали деньги. Виновато улыбаясь, он извинялся за вторжение в поздний час и извлекал из пакетов и свертков бутылки и закуски. Он говорил, что ему необходимо побеседовать со своими соратниками — о важных делах. Соратниками его всегда оказывались эксцентричные женщины, которые глядели на него с благоговением и которых он представлял как педагогичек. Он без умолку разглагольствовал о свободе, равенстве и братстве и даже намекал, что причастен к какой-то нелегальной организации. Не исключено, что он действительно некоторое время бегал на собрания какого-либо кружка, подозреваю, националистического толка, но смекнув, что это чревато неприятностями, быстро распрощался с идеями о переустройстве мира.

Жена его и дочь жили в Батуми; изредка, в перерыве между романами, он их навещал. Дочь он любил до безумия. Однажды, пытаясь вернуть его в лоно семьи, жена дала ему телеграмму, что дочь тяжело заболела. Это было в разгар империалистической войны. Он тотчас же выехал в Батуми, заразился в пути сыпняком и умер.

Когда я начал писать стихи и уверять домашних, что скоро прославлюсь, когда стал бегать на свидания то к одной, то к другой, отец часто повторял:

— Был бы жив дядя, ты вмиг бы нашел с ним общий язык.

Этот дядя, которого я никогда не видел, почему-то всегда вызывал во мне симпатию.



Раз в год, в день именин отца, приходил священник, — стучался неуверенно, готовый к тому, что дверь перед ним захлопнется. Многие из бывших прихожан уже отказались от его услуг, но бабушке было как-то совестно сказать старому человеку, оставшемуся без средств после закрытия церкви, что появление его в доме нежелательно. Он и сам чувствовал двусмысленность создавшегося положения, поэтому обряд свой совершал наскоро и, получив скромный гонорар, спешил удалиться. Мне его было немного жаль, он совсем не походил на изображаемых на плакатах попов-пауков, взгромоздившихся на спину согнутого в три погибели рабочего.

Закусочный стол накрывался с утра — на случай, если кто из гостей вздумает прийти днем. Меня причесывали и облачали в парадный костюм, предлагали отправиться в соседний скверик — погулять, лишь бы я не мельтешил на кухне, мешая готовке. Считалось хорошим тоном подарки присылать с посыльным, и, бывало, посыльный в фирменной шинели и в фуражке с красным околышем доставлял огромный торт с воткнутой в крем визитной карточкой, или букет цветов, а то и корзину цветов с бутылкой шампанского. Я слонялся по квартире и поглядывал во двор — не мелькнет ли в воротах красный околыш посыльного.

Гости были чуть ли не в два раза младше меня теперешнего и казались мне людьми пожилыми. Всех их объединяли — близкие и дальние — родственные отношения, но принадлежали они к мирам разным. В основном они делились на торговцев, приспособившихся к новым условиям, и на ревнителей светлого будущего. Первые робко жаловались на власть, вторые грозили им пальцем и советовали помалкивать. Они советовали тряхнуть мощной и выложить для нужд государства припрятанную валюту, первые же божились, что выложили все и выкладывать больше нечего. Все эти разговоры не мешали им, в ожидании ужина, играть друг с другом в нарды и произносить за столом заздравные тосты. Если священник являлся в час пиршества, мои идейные дядья, повскакав с мест,

временно удалялись в другую комнату — их убеждения не разрешали им присутствовать при богослужении. Ни один из них не дожил до начала Отечественной войны.

Мы, мальчики, играя во дворе, говорили на трех языках, вернее на одном странном языке, сочетавшем грузинские, армянские и русские слова. Наш трехэтажный дом был типичным тифлисским домом со множеством лестниц-спиралей и с балконами, выходящими во двор. На балконах женщины готовили обед, стирали белье, громко переговаривались, делясь новостями или прося друг у друга займы — головку лука, стручок перца. Иногда происходили ссоры. Тогда все жильцы, побросав дела, слушали перебранку двух соседей. Вечерами мужчины на балконах степенно попивали чай или, из граненых стопок, — вино, и вполголоса пели. Днем двор наш был криклив, вечерами задумчив.

Сумерки действовали на меня угнетающе. Час, когда день мерк, а вечер еще не вступил в свои права, томил своей неопределенностью. В окно был виден остроконечный купол Сурб-Нишанской церкви, выложенный голубым кафелем, над ним витали стаи птиц, в тихие осенние сумерки они улетали на юг — через пустыни и моря — в страны, которые манили своей экзотичностью. В магазине колониальных товаров я видел коробки с этикетками — на них были изображены океанские пароходы, львы, пальмы и пирамиды, и мне казалось, что птицы летят именно к этим, недоступным мне, пальмам и пирамидам. Мама любила петь народные армянские песни, все они были печальны, но особенно печальна была одна — о высоких горах. Высокие скалистые горы и одиноко сидящих на выступах грифов я запомнил по цветной вкладке в толстой книге о флоре и фауне Земли, и каждый раз, когда мама начинала петь, я их вспоминал. Эти синие горные вершины, освещенные лучами заходящего солнца, вызывали во мне чувство такой безысходности, что губы мои кривились и я вот-вот готов был заплакать.

Я был сентиментальным мальчиком с избытком воображения.

Кроме заброшенных этюдов Лютше, в стопке нот, громоздившейся на пианино, имелись ноты расхожих песенок, вроде «Кирпичики», «Джон Грей» или «Весна в Париже», и среди них — популярный романс «Гейца-вале» на слова Гришашвили. С Иосифом Гришашвили я познакомился, когда начал писать стихи и бегать в Союз писателей на занятия литературного кружка. Кружок вел Владимир Эльснер, иногда, бывая наездами в Тбилиси, Рюрик Ивнев. Работу кружка курировал Симон Цверава; он-то и познакомил меня с Иосифом Гришашвили.

Гришашвили был маститым поэтом, и когда он шел по Руставели, прохожие, узнавая его, считали своим долгом с ним здороваться. Знакомством с ним я очень гордился. Он подарил мне сборник своих стихотворений — с надписью, в которой щедро назвал меня своим другом. Друзьями мы, разумеется, не были. Много позже я понял, что другом для него был каждый, в ком он видел готовность бескорыстного служения Поэзии. Через все годы я пронес чувство благодарности к этому мудрому человеку, проявившему доброе отношение к юноше, делающему первые шаги в литературе.

В своих стихах он воспевал романтику старого Тифлиса, хотя давно, еще в двадцать пятом году, распрощался с ним в стихотворении, которое так и называется — «Прощание со старым Тифлисом». Однако, несмотря на три радостных восклицательных знака в последней строке, каждая строфа этого стихотворения проникнута горечью. Он вдоволь наслышался упреков за свою приверженность к милой его сердцу старине, и понадобилось немало лет, чтобы она, хоть и декоративно, воскресла в веселом празднике «Тбилисоба». Блуждая сегодня в лабиринте улиц Чахрухадзе, Шавтели, Бараташвили, глядя на разноцветные балясины балконов, на базилику Анчисхатской церкви, на витиеватый, словно возникший из сказок Шехерезады магазинчик «Oriental sweets», я вспоминаю Иосифа Гришашвили и напрасно надеюсь, что, свернув за угол, встречу его...

Отличником я, конечно, не был. Мне всегда казалось, что круглые отличники — люди, несомненно, способные, но не определившиеся. В десятом классе я в этом убедился. Они все еще решали, какую дорогу из-

брат, для меня же вопрос этот решил сам собой за-долго до десятого класса. Я и Витя М. твердо знали, чего мы хотим. Нас считали чужаками.

Семья Вити жила в крайней нужде. Его мать — дочь когда-то состоятельных родителей — служила на телеграфе приемщицей. Бабушка только и делала, что предавалась воспоминаниям о былых вояжах в Ниццу и Баден-Баден. Ей, прикованной к постели тяжким недугом, ничего другого и не оставалось. Отца Витя никогда не упоминал, и я никогда о нем его не спрашивал. Витя был одержим страстью к изобретательству. Над его кроватью висел портрет Эдисона. На сэкономленные на завтрак деньги Витя приобретал химикалии; его стол был заставлен аккумуляторами и динамо-машинами, под потолком, в четырех углах были установлены антенны. Я, еле получавший по физике тройки, ничего в его опытах не смыслил, но грандиозность замыслов восхищала. Долгое время он работал над машиной для передачи мыслей на расстояние.

С нами училась девушка по имени Люда. Мать ее умерла давно, когда Люда была еще маленькой, и ее воспитывал отчим. Жилось ей несладко. Иногда мы встречали Люду, гуляющей с отчимом по Руставели, — он крепко держал ее за руку и не разрешал смотреть по сторонам. В девятом классе Витя влюбился в Люду. Он влюбился со всем отчаянием и безрассудством своих семнадцати лет. Что делать с захлестнувшим его вдруг чувством, он не знал. При встрече с Людой он бледнел и, боясь на нее взглянуть, проходил мимо. Он заявил, что приедет любого, кто осмелится после уроков провожать ее домой. Предугадать его поступки было невозможно, и никто из нас не усомнился в его словах.

То, что сделал Витя для доказательства своей любви, было похлеще угроз и превзошло все наши ожидания. Витина мать, получив на работе незначительную премию, решила купить ему ботинки. Старые, в которых он ходил, были до того разбиты, что подошву приходилось обматывать проволокой. Отправляя сына в школу в новых ботинках, она глядела ему вслед, ликуя. Но, выйдя из дому, Витя отправился не в школу, а за город. Там под палящими лучами солнца при помощи увеличительного стекла он выжег на носках своих новых бо-

тинок инициалы возлюбленной. Когда на следующий день он появился в школе, весь класс ахнул от восторга и удивления. Даже циники, готовые позлословить по любому поводу, приумолкли, поняв, что тут уж не до шуток.

Мы с Витей были друзьями, и я очень дорожил его дружбой. Я и сейчас дорожу дружбой людей, совершающих поступки, на которые я не способен.

Я сидел над раскрытым учебником и думал о том, что прежде чем идти гулять, следует приготовить уроки. Я так долго думал об этом, что давно бы успел уроки приготовить. Я сидел над учебником — в надежде, что все же возьму себя в руки и приступлю к занятиям. Но приступить к занятиям я никак не мог. Меня тяготило какое-то смутное, неосознанное желание. Я маялся, не понимая, что со мной происходит, и в конце концов решил бросить все и пойти к Вите. Решив, я сразу догадался, что все это время мне хотелось пойти к нему. Он жил на Музейной, я часто бывал у него дома, мы беседовали допоздна, посвящая друг друга в свои тайны.

Витя обрадовался моему приходу так, будто не видел меня вечность.

— Пришел все-таки, — сказал он улыбаясь.

— Пришел, — сказал я. — А что?

Он провел меня в комнату и многозначительно показал на антенны.

— Видишь? — сказал он. — Это я внушил тебе бросить уроки и прийти ко мне.

Я стоял как пораженный громом и чувствовал, что обалдеваю.

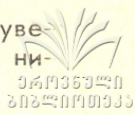
Поскольку многие учащиеся являлись детьми военнослужащих, то состав нашего класса не отличался стабильностью. К началу учебного года часть его обновлялась. Родители забирали детей, уезжая в другие города — к месту назначения. Мы привыкли легко забывать вчерашних друзей и так же легко обретать новых. Поэтому мы не очень задумались над потерями, которые понесли в девятом и десятом классах. Постепенно от нас ушли Вахтанг Т., Этери Г., Ирина М., Эдик М., — их переводили в другие школы, на окраины города. Это бы-

ло связано с событиями, происходившими в мире взрослых, от которого нас старались оградить, но мы, тем не менее, по внезапно наступившей тишине и по уклончивым ответам родителей догадывались, что в мире их не все благополучно.

...Жора Берман погиб в сентябре сорок второго, под Новороссийском.

От нас требовали, чтобы мы учились хорошо и вели себя прилежно. После уроков мы были предоставлены самим себе и все свободное от школы время отдавали двору и улице. Но чем старше мы становились, тем меньше оставалось свободного времени. В моду вошли походы. Мы шли в походы — то в зоопарк, то в музей, то к местам каких-либо достопримечательных — давних или недавних — событий. Походы эти именовались мероприятиями. Запланированные заранее, они были лишены случайной и ничем не заслуженной радости. Одно дело, например, бегать в кино, удрав с уроков, и совсем другое — смотреть эти же фильмы в обязательном порядке. Но когда однажды воскресным утром нас повели в ДКА на просмотр фильма, о котором было много слухов, но который в нашем городе еще не шел, я, как только вспыхнул экран, забыл обо всем на свете. Теперь я с гордостью говорю, что принадлежу к первому поколению зрителей этого, не побоюсь сказать, исторического фильма. В нем смешные ситуации следовали одна за другой, и каждая была смешнее предыдущей, я прямо-таки помирал со смеху, да не только я — весь зал, когда поросята, взобравшись на богато сервированный стол, лакали вино из ваз, или оркестранты, держась на инструментах, повисали на люстре под потолком. Все это перемежалось легко запоминающимися песнями — то меланхоличными, то бодрыми. Тогда же я впервые услышал имя, которому суждено было прогреметь на всю страну и впоследствии стать легендарным. Легендарным стал и джаз-оркестр, руководимый этим человеком. Не было семьи, в которой не имелась бы его пластинка, и когда по радио передавали его песни, каждый узнавал его по голосу — сразу. Многие годы он являлся кумиром моего поколения.

...умер он несколько лет назад — в наивной уверенности, что тот, кто шагает по жизни с песней, ни-где и никогда не пропадет.



Одно из первых воспоминаний: я сижу в тазу, вокруг меня вспыхивают солнечные зайчики. Наверно, был жаркий день, меня раздели, посадили в таз с водой. Я разбиваю ладонями поверхность воды, вижу мамино лицо, только лицо, мама склонилась надо мной, уговаривает не шалить. Я продолжаю резвиться, смеюсь, и повисают на ресницах капли воды, прыгают солнечные зайчики. И еще вижу, совсем близко, густые ветви, свежую листву — даже не зеленую, а салатную... На даче ли было это или на балконе тифлисского дома — не знаю.

...шумит время.

Пока отец и дядя Платон беседовали, я смотрел по сторонам, наблюдая за расходящейся после матча публикой, и вдруг заметил в толпе человека, которого сразу узнал. Он шел легкой походкой, противоречащей его дородной фигуре, в черном, не по сезону, костюме, с гвоздикой, продернутой в лацкан пиджака. Это был известный поэт, его стихи я встречал на страницах «На рубеже Востока», где печатались произведения писателей Закавказья, и видел его портрет в витрине фотоателье Козака, в Сололаках. У него были светлые, чуть навывкате, продолговатые глаза и четко очерченные пухлые губы; эти губы и ниспадающая на лоб челка придавали его круглому лицу выражение детскости. До чего же я удивился, когда, взглянув в нашу сторону, он издали поздоровался с дядей Платоном. Он поздоровался несколько подчеркнуто, подняв руку в жесте, каким идущие на смерть римские гладиаторы приветствовали Цезаря.

— Вы с ним знакомы? — спросил я дядю Платона с замиранием сердца.

Мы стояли на Плехановской — там, где раньше находился стадион «Динамо».

Платон Шалвович М. являлся давним другом моего отца. За пропагандистскую деятельность среди рабочих железнодорожных мастерских его дважды аре-

ставывали, он дважды бежал из тюрьмы, был одним из тех большевиков, что устанавливали в Грузии Советскую власть. В разные годы он занимал высокие посты в области народного хозяйства.

— Почти, — ответил дядя Платон и, улыбнувшись своим мыслям, продолжил, обращаясь уже не ко мне, а к отцу: — Пришел он однажды ко мне на работу. Это было давно. Тогда много людей приходило, и каждый — с просьбой. Поговорил о литературе и попросил денег. Они там собирались издавать какой-то альманах, но денег у них не было, вот они и решили провести подписку — в надежде, что советские учреждения поддержат их в их начинании. Речь шла о сущих пустяках, я вызвал бухгалтера и распорядился отпустить деньги из директорского фонда. С тех пор мы и здороваемся.

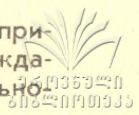
— А альманах? — спросил я.

— Что — альманах? — не понял дядя Платон. — С альманахом у них, надо полагать, ничего не получилось. Во всяком случае я его не видел. Впрочем, то, что у них ничего не получится, я уже понимал, отпуская деньги. — И дядя Платон рассмеялся.

Дядя Платон не дожил до начала Отечественной войны, так же как и поэт, который остался в моей памяти — с гвоздикой в петлице и с поднятой в приветствии рукой.

Мама решила, что на первые заработанные мной деньги надо купить нечто вечное, нетленное. Сто двадцать рублей, которые я получил за очерк о городской пожарной команде, опубликованный в «Вечернем Тбилиси», были больше чем деньгами — они были гонораром. — «Коля получил гонорар», — сообщала мама родственникам. Она пошла в комиссионный магазин и после долгих раздумий остановила выбор на музыкальном ящике.

Музыкальный ящик представлял собой полированную деревянную коробку с инкрустированной крышкой. Откинув крышку, можно было увидеть сердцевину коробки, ее нутро. Множеством шестеренок и молоточков оно напоминало часовой механизм. Вдоль коробки тянулся цилиндрический стержень, утыканный металлическими штифтиками. Пружина, разматыва-



ваясь, вращала стержень, и тонкие пластинки, прикреплённые к боковым стенкам коробки, освобождаясь от штифтиков, издавали звуки разной тональности.

Незатейливые звуки менуэта переносили меня в другие времена и в другие обстоятельства. Мысленным взором я видел, как в просторном зале старинного замка, на полу, выложенном в шахматном порядке квадратами черного и белого мрамора, приседая в танце, двигались мужчины в зеленых камзолах, белых чулках и в башмаках с серебряными пряжками и обнаженные по плечи женщины с мушками на щеках, в кринолиновых юбках, из-под которых высывались носки узких шелковых туфель.

Я готовился к завоеванию Москвы. Литературный институт, вне которого я не мыслил своей жизни, представлялся Олимпом, а те, что уже учились в нем, казались причисленными к сонму бессмертных. Никакие ссылки на Чехова, который сперва был врачом, а потом стал писателем, не способны были заставить меня отказаться от принятого решения. Только в Литературный институт и ни в какой другой стремилась моя душа. Там преподавали лучшие поэты страны: Асеев, Сельвинский, Антокольский, Луговской, Кирсанов — мои принципалы; учиться у них, беседовать с ними на правах подмастерья — это ли не счастье?!

Я был уверен в гениальности моих стихов, но порой меня одолевали сомнения — вдруг не примут? Поэтому, кроме гениальных стихов, следовало иметь в запасе что-нибудь более реальное. Реальным пока что у меня был только очерк о городской пожарной команде.

В годы войны музыкальный ящик мы с мамой повезли в Сабуртало, на черный рынок, и в числе прочих вещей обменяли на пару килограммов кукурузной муки, из которой бабушка выпекла круглые лепешки — мчади, так что с некоторой натяжкой можно сказать, что мой первый гонорар был истрачен на хлеб.

Чем меньше дней оставалось до выпускных экзаменов, тем мучительнее было учиться. Не терпелось вырваться на волю, уйти из-под опеки педагогов, от

их наставлений, от постоянного родительского контро-
ля.

Мне было года два, когда я пропал. Сполз по ступенькам, потопал через двор и вышел за ворота. На мне было красное платье.

Кто-то из состоятельных родственников подарил мне куклу. Она была большая, с меня ростом, закрывала глаза, когда ее опрокидывали на спину, и произносила: «Ма-ма». В дни стирки платье с нее снимали и надевали на меня. В ее красном платье я вышел за ворота и зашагал в сторону Пушкинской.

Я не знал, что я пропал, поэтому не плакал. Думал ли я о чем-нибудь? Вряд ли. Шел куда глаза глядят, наслаждался свободой. На углу Серебряной и Пушкинской меня заметил возвращающийся с рынка Якоб, наш дворник. Он взял меня за руку и вернул домой. Впоследствии он говорил, что узнал меня по красному платью.

Дома стоял страшный переполох, когда мы с Якобом появились в воротах. Мама, спохватившись, что меня нет, подняла весь двор на ноги. Никому не приходило в голову, что я мог уйти в город, поэтому меня искали в подвалах, на чердаке, в закутках. Когда Якоб сказал, что нашел меня на углу Пушкинской, мама упала в обморок, ее отпаивали валерьяной.

Кто знает, как бы все обернулось, не будь на мне красного платья моей куклы?

...пришел срок возвратиться к началу, пришел срок.

Школа наша была семилетней, но когда мы кончили седьмой класс, открылся восьмой. По мере того как мы переходили из класса в класс, открывался следующий. Таким образом четыре года мы являлись старшим классом школы, ее головным отрядом. Этому обстоятельству мы придавали особое значение, считая, что прокладываем путь тем, кто идет за нами.

В десятом классе мы переехали в новое здание, построенное рядом с нашей школой, и получили новый номер — пятьдесят шестой. Фотография-виньетка первого выпуска пятьдесят шестой школы, много-

кратно увеличенная, долгие годы висела в кабинете
директора — в назидание молодым поколениям.



Тамара С., которой учеба давалась с трудом, заявила, что ей не надо гадать о своем будущем — у нее есть жених и после десятого класса она выходит замуж. Поэтому мы не очень удивились, когда на выпускной вечер она пришла в туфлях на высоких каблуках. Удивило другое: никто из педагогов не сделал ей замечания.

Оказалось, что мы повзрослели.

Вертится заигранная пластинка на семьдесят восемь оборотов, хрипит в углу патефон, мы танцуем под фокс и слоу-фокс, танго и квик-степ, ребята из десятого класса, вчерашние маменькины сынки, и — море нам по колено. Нам уже вручили аттестаты, и директор толкнул речь, и родители удалились, чтобы не смущать нас своим присутствием в наш последний школьный вечер. Прощай, школа! Прощайте, парты с вырезанными нашими инициалами, выбитые стекла и дворик, где мы на переменах гоняли мяч. Прощайте, наши девушки в майках и в тапках с голубыми камешками, и наши замечательные педагоги, мы великодушно простили вам все огорчения, все несправедливые отметки. Нам жаль с вами расставаться, но нас ждут великие свершения...

Мы немного под хмельком от разбавленного вином лимонада. Вертится пластинка. Обнявшись, мы всем классом поем «Сердце, тебе не хочется покоя», клянемся в любых обстоятельствах хранить верность нашему школьному братству, и слезы туманят взор, и мы — счастливы.

— Стихи! Читай стихи! — (Это через весь зал кричит мне Гоги П.).

На дворе стоит жаркое лето тысяча девятьсот тридцать седьмого года.



ПИК НАД МЕСТИА

Тетнульд увенчан облаком всегда,
Лишь изредка — вот как сию минуту —
Зубец его пронзительного льда
Сиятельно доступен отовсюду
Для ока ненасытного и для
Души, не умещающейся в небе.
Мы на Тетнульде взглядами сошлись,
Дыханьями смешались. Кто во гневе
На это? Пусть осудит. С нами высь.

ДО ТЕБЯ

Резцом — на бегущей стали,
Дыханием — на ветру,
На каменной яви — снами
И ласточкой — на лету,
Шагами — на шатких
трапах,
Душой — неизвестно где,
Улыбкою — на утратах
И вилами — на воде,

Пером — на клочке бумаги,
Добром — на потугах зла,
На горьком питье — губами,
Чем прям — на куда несла
Нелегкая со кривыми,
Чем можно — на чем нельзя
Твое выводил я имя.
Но имени я не знал.

НАВАЖДЕНИЕ

Так отсутствовать умеешь,
Будто рядом ходишь.
Ах, о чем я? О тебе лишь,
О тебе всего лишь!
В чистом поле и во стенах,
И на перекрестках
Локоть ведает, как тесно
Между нами верстам.

И в людском потоке тоже
Теснота чудесна,
Ведь толпа везде похожа
На пустое место.
Уронюсь тебе на плечи,
А ладони — мимо.
Ожидание от встречи
Так неотлично!



Мурман, по самые глаза
 Ты врос в родные небеса
 И сединою возле Ушбы
 Воснежен в ту же синеву,
 Чему с подножья нашей
 дружбы

Я надвиться не могу.
 Я сын полей, на вы с
 тобою,

Но мне подставило плечо
 Селенье сванское Бечо.
 Вспоен колодезной водою
 И полон хмелем высоты
 Миг обращения на ты.
 В глазах и Местиа, и
 Мцхета—

Неприземлима почва эта,

А под ногами велика ль?
 Что ж, у грузинского поэта
 Преобладает вертикаль.
 Черты горы даются свыше
 И уведут за облака,
 И не сойдут с лица, пока
 Под синим колоколом
 слышен

Глагол родного языка.
 Пусть притянутся долины
 Летящим профилем
 орлиным,
 И шевелюрою Мурман
 Сквозит в лучах вечерней
 лиры,

А обуаается в туман.



Валерий КРАСКО

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В БАРЕ ТЕПЛОХОДА
 «АБХАЗИЯ» В ДЕКАБРЕ 1980 г.

Пусть норд-ост ревет в угаре —
 Мы сидим, как бары, в баре:
 Фигурально говоря,
 Рухнет мир — не наше горе...
 Нелюдимо наше море
 На исходе декабря.
 Нелюдимы наши души,
 Нетерпимы наши уши
 Даже к имени «Норд-ост»!
 Чарки полные налейте,
 Валико и Нана Жгенти,
 Выпьем с горя — где же тост?
 (Эхо горного обвала
 На мгновение прервало
 Голоса моих друзей --

В ПАЦХЕ

Георгию Гулиа

В пацхе старого абхазца
 вас обступит тишина,
 сразу может показаться,
 что вернулись времена
 молодых красивых нартов,
 дружно живших всемером,
 молодечески азартно
 охраняющих свой дом.
 В пацхе старого абхазца
 ждет вас пламенный очаг,
 где пылают и дwoятся
 угли красные в очах,
 где высоко над землею
 на плетенке над огнем
 сыр коптится, я не скрою,
 утром, вечером и днем.
 В пацхе старого абхазца
 ночью вам приснятся сны,
 мол, не стоит опасаться
 ни раздора, ни войны,
 мол, великая природа
 от беды уберезет,
 в пацху через оба входа
 злыязычье не войдет.
 В пацхе старого абхазца
 будет сказ звучать о том,
 как сражались нарты-братцы
 в битвах праведных со злом.
 Сказка необыкновенна,

а рассказчик — балагур,
 захохочут даже стены
 в покрывалах ржавых шкур.
 В пацхе старого абхазца
 стол-скамейка встретит вас,
 мамалыгой угощаться
 хорошо в урочный час.
 Пусть денек сегодня серый,
 переменит воздух цвет
 и отмерит полной мерой
 счастья дружеский привет.
 В пацхе старого абхазца
 мы откроем для себя
 то, с чем следует сверяться,
 воздух родины любя,
 эту землю, эти воды,
 эти чудо-небеса,
 вне изменчивой природы
 с солнца не своля глаза.
 В пацхе старого абхазца
 невозможно не понять,
 что не стоит опасаться
 вечных истин, пужно знать
 с виду, вроде, прописные,
 но священные слова,
 где понятия родные,
 где родная речь жива —
 в пацхе старого абхазца...

НА СОЛНЦЕПЕКЕ

В стакане — золотистое вино.
 Оно, как солнце, обжигает губы.
 ...В твоей квартире пусто и темно.
 Как людно и как солнечно в Цхалтубо!
 Смеяться разучились зеркала.
 Со временем стареет амальгама.

За гладкою поверхностью стекла
змеятся трещины, как от порезов шрамы.
Река Риони отразит верней
подвижность черт, знакомую улыбку...
Плыви, купайся, тень среди теней,
пускай другой обнимет стан твой гибкий!
А я давнишней болью оглушен,
стою на солнцепеке... С опозданием
обвит, как дерево змеящимся плющом,
вернувшимся ко мне воспоминаньем.



Михаил ПОЗДНЯЕВ

КАМНИ ГРУЗИИ

Ночью, за полночь, в лютую вьюгу,
у окна, обращенного к югу,
застываю — и, очи закрыв,
все-то вижу в крошечном завале
своды белые Светицховели
и Метехи чешуйчатый кров.
Вьюжной ночью, замешенной круто,
грань острые храма Баграта
прыщут искрами, рвут небосклон,
будто молнии; очи открою —
бедный Джвари встает над Курою,
горный прах отрясая с колен.
Ночью лютой, далёко за полночь,
всеблагих призываю на помощь —
нет, не слышат, зови не зови,
лишь одни в запорошенной выси,
вижу, ангелы церкви Кинцвиси
оправляют хламиды свои...
Камни Грузии! В зимние ночи,
ах, пошто вы мне застите очи,
печень клёбете, в пленках ушных,
как по кровельной жести, гремите?
Что во мне вам, Армази, Гелати
и Атени в морщинах сплошных?

Значит, есть между нами и вами
то, чего ни умом, ни словами
не понять, не обнять, не обжать.
Тяжек стих, словно маска из гипса:
ни горячей слезе накопиться,
ни разжатым губам задрожать.
Значит, стих для того нам и нужен;
чтобы вроде чехла или ножен
облекать нашу скорбь и тугу —
не давать им тупиться без нужды,
чтобы, может быть, только однажды —
ночью, за полночь, в черном снегу,
в беспросветную зимнюю стужу
распахнуть изможденную душу,
отвернуть заскорузлый покров —
и с последним дыханием в глотке
разглядеть на кольчужной подкладке
милой Грузии жаркую кровь.

НАДШИСЬ НА АНТОЛОГИИ

...Сороковые, роковые...
Д. Самойлов

Слово,
не сорвись на стон.
Опасайся стать соленым.
Ты — последний мой заслон
на лугу вечнозеленом,
где лежу июньским днем
в луговых цветах измятых
под прицельным артогнем
роковых
восьмидесятых.



ИЗ ЦИКЛА «ДОРОГА»

1.

Нас увозит за город продрогший состав.
И попутчица нам повествует о муже,
мол, когда б не дитя, то на черта он нужен...
Наконец отогрелась и дремлет, устав.

Всё как в песне, где выкинуть слова нельзя..
На коленях — едою набитые сетки.
Серебрится чело безымянной соседки.
И не рельсы уведят состав, а — стезя.

За крутым поворотом кончается лес.
Разливается йодистый воздух залива.
Мы несемся под заревом вечных небес.
И соседка вздыхает во сне терпеливо.

2.

Я думаю, пространство однородно,
покуда памяти связующая нить
его связует. Рига? Киев? Гродно?
Что за окном? — Пространство однородно.
Темнеет. Ничего не различить.

А впрочем, полустанок различим,
И тополя, и дом, и бедный дым —
все тонет в мрачной красоте заката.
Случайная звезда горит над ним.
...Но это было где-то и когда-то.

И снова дом. И свет в окне потух.
(Запоминают не глаза, а дух).
В купе идет дорожная беседа.
Одна из разговорчивых старух
чайком поит усталого соседа.

Важна не география, но суть.
А расстоянья — это как-нибудь.
Все главное запомнит состоянье.
Я повернулась и боюсь вздохнуть:
вдруг совместились, освещая путь,
старухи профиль и луны сиянье...

3.

Дорога. Ночь. Прямая речь,
переходящая границы,
И время нервы побережь,
да нету сил остановиться.

Лимит добра давно иссяк,
как ночь по капле иссякает.
И бесконечный товарняк
нам перспективу отсекает.

Тот, кто затеял, сам не рад.
Сурово смотрит проводница.
И резкое «кто виноват?»
ко брату обращает брат.
И в полутьме белеют лица.

Потертый тамбур. Вечный путь.
И ночь за окнами — что яма.
И нужно довод перегнуть,
дабы душа стояла прямо.

И только это, говорю,
и только это, может статься,
нам помогает удержаться
сей мрачной бездны на краю.

4.

Состав отошел и застыла душа.
Пространство качнулось, лишённое веса.
И мы, пошатнувшись, шагнули спеша
от края платформы на запахи леса.

Просторная осень стояла тогда
над центростремительной, светлой, неловкой,
слетевшей на землю, как птица, церковкой.
И с краю небес проступала звезда.



Как звон колоколен, пластался покой.
Темнело. И осень, сверкая лениво,
смыкалась над нами, как воды залива.
Мы рыб от лица отводили рукой.

5.

Как будто это все со мной:
ночная вечная дорога
не из дому и не домой,
а так, враскачь, по круговой.
Что ж, привыкаю понемногу,
как будто это все со мной.
Как будто это все со мной:
знакомый голос за стеной,
в ночи горит звезда убого.
И ночь, и голос, и дорога,
как будто это все со мной.
Как будто это все со мной:
декабрь, перрон, рассвет и слякоть,
и расставанья страх сквозной.
О, господи, зачем же плакать,
как будто это все со мной.
Как будто это все со мной:
дождь бесконечный, обложной,
и жизнь пронзительная — в теле
засела пулей разрывной.
Ну, что же плакать, а самом деле,
как будто это все со мной.
Как будто это все со мной:
однажды я глаза раскрою —
и свет нахлынет проливной,
как будто это все со мною...
Но все воистину со мной.

6.

...но если облегченья нет
и только дождь летит на лица,

тогда откуда этот свет,
откуда этот свет родится...

●

Что клеть по отношению к небесам?
Что небеса в сравнение со вселенной? —
Все та же клеть. Свободы совершенной
знать не дано. И не пеняй. Но сам
попробуй разомкнуть границы снов,
где свет без имени, где знания без основ,
где ты один, коленопреклоненный.
О, сколько к небесам закинутых голов!
Но внутрь себя глядит старик согбенный.
Не зная языка, материя растет.
Неубиенный дух не разумеет речи.
Груз этой немоты твои сутулит плечи
и за собою голос твой ведет.
Все, что вокруг тебя, — с тобой один состав.
Все, что внутри тебя, — не ведает предела.
И потому в жестоких узах тела
звезда светила и душа летела.
А сам ты говорил, над временем привстав.

ТРИ ГЛАВЫ

1.

Темнеет на глазах. (В рядах партера
так на глазах темнеет ежедневно).
Из тьмы выходит осторожно Терра.
Ночь жмурится, как сытая пантера.
А время дышит медленно и гневно.

От встречных фар оборонясь рукою,
я шла в ночи нетвердою стопою,
я шла почти на ощупь, холодея,
не зная — что я и не зная где я,
готовая светиться одиноко,
как некое недремлющее око,
пульсируя зрачком и сердцем птицы,
пока Природа не сомкнет ресницы...

Внезапно баней потянуло серной.
Вот и метро (тбилисское, наверно).
А мостик почему-то ленинградский.
Круг замкнутый — не жизненный, так адский.
А это, вроде, поворот Арбата.
(Сознание сна, как явь, уже разъято).
Я шла одна, не ощущая тела.
И страшно стало мне.
И я — взлетела.

2.

Что видим мы, витая в облаках?
Да тех, кто нас носили на руках,
когда мы были маленькие дети.
Они туда ушли, где солнце светит.
И лишь за нас испытывают страх.

Чем больше мертвых у меня в роду,
тем менее меня на свете белом.
Я с ними дую в райскую дуду
и муки адские терплю в аду,
поскольку я из их души и тела.

Меня уже так много в небесах,
в сырой земле меня уже так много!
Я убываю прямо на глазах,
чтоб вынырнуть в созвездье Козерога.

Они берут меня к себе, берут.
И то, что я не там еще, а тут,
так это просто недоразуменье.
Душа высвобождается из пут
и новое свое обрящет зренье.

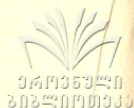
3.

Ну, а теперь поразмышляем вслух
о бытие и быте двух старух.
Они на пенсионных шесть червонцев
и внуков балуют, и даже видят солнце
среди разных неурядиц и непрух.



Они мне бабки. Им ровесник век.
Они так взяли хорошо разбег
свой жизненный еще при Николае,
что их не миновала никакая
из войн и ни одна из прочих бед.
Я разделяю скромный их обед,
а также дни рожденья и поминки.
Еще — особой чистоты простынки,
которых в целом мире больше нет.
Вот так глядят на черно-белый свет
двоюродная бабка и родная.
(О, я предвижу день, когда, рыдая...)
Раз, верно, пятый перешит жакет
из довоенной ткани затрапезной.
И в этой самой выдержке железной
всей жизни заключается сюжет.
В своей малокалиберной квартире,
где совмещенный с ванной туалет,
живут, как говорят, не зная бед
(не пережитых). И «Сегодня в мире»
внимательно прослушав перед сном
заснуть не могут допоздна потом.
Когда прощаюсь, в коридоре стоя,
со мною начинается такое,
что мне самой, наверно, легче — в гроб.
Целую руки, седину и лоб.
И сохраняю видимость покоя.
И, слишком крепко бабок обнимая,
вид делаю, что я не понимаю,
что это, может статься, навсегда.
Который день, который год прощаюсь.
За них, как за соломинку, цепляюсь,
Как будто бы не им, а мне — туда.





МОНОЛОГ СВЕТИЦХОВЕЛИ

Я дыханье обрел в тишине галерей,
Недоступных до времени ветру и зрению,
И безвестный строитель гортани моей
Отказался от званья в угоду творенью.
Он ласкал меня взглядом и имя забыл,
И судьбой уподобился снежному кому.
Он состарился рядом, и прах его был
Затворен под землей по обряду людскому.
Но в минуту прозренья, закатной порой,
Он вложил в напряженье надменного свода
Поднебесную ноту и камень сырой,
И нагое тепло, и ключи от восхода.
Он шагнул за порог и уста затворил.
И ушел, доверяя связующим звеньям.
Но слова мои были его откровеньем.
Наводненный народами, я говорил...

СБОР ВИНОГРАДА

В тугих соснах молчит вино.
К лицу — лозы венки.
И человек с землей — одно.
И каждый — одиночек.
Прохладных рук и
теплых плит

Нерасторжима связь.
И Осень праздная стоит,
К давальням наклонясь.

Она намеренно молчит:
Еще не вышел срок.
Еще в окошко постучит
Забывшийся листок,
Влетит и скажет:
«Стол накрой!»

И вложит тост в уста
За это небо над землей,
Которым кровь сыта!

ПРИЗВАНИЕ

То дерево, рожденное для скрипки,
Не мыслилось и богом для иного.
И тот, кто посадил его мальчишкой,
Истлел под ним. И завещал потомку
Беспмятство звучащей древесины...
И так из рода в род передавал



У этой женщины со мной
Пространства не было в природе.
Хранило небо шар земной.
Дрожало лето на исходе.
И ощущение беды
Читало сумеречной ранью
Еще бескровные следы
Чужой тоски и пониманья.
Но эту женщину хранил
В огнях житейских перепутий
Какой-то истинный Кронид,
Какой-то явный признак сути.
И потому в часы тепла
Все так же искренне казалось,
Что эта женщина была.
Ушла. Исчезла. И осталась...

Трехголосье трепещет в ребенке,
Осознав сокровенные ноты:
Голос юности скорбный и тонкий,
Голос крови и голос заботы.

Мир звучит, наслаждаясь повтором,
И тогда проявляется гений —
Голос женщины близкой, в котором
Все беспамятство всех поколений.

И ощущая радостное тело,
И насыщая мир сердцебиеньем,
Не забывайте скорбного предела
И черных птиц над отчим погребеньем,
Всего, что было жесткого и злого,
Всего, что било, мучило, кололось.

Храните боль, превозмогая слово,
Дарите жизнь — и вам зачтется голос.

Опрометчиво зренье. И сладок глоток.
И погожие дни сочтены.
На заре осыпает тепло свое мать,
Укрывая сыновнее я.
И счастливая девочка учит летать
Золотого птенца бытия...



●
Глаза раскроем не спеша,
Необъяснимые, как дети:
Какая ясная душа
У этой рощи на рассвете!

— Смотри, октябрь. А вон—апрель! —
Смеемся, времени не зная.
Какая чуткая свирель
Ее артерия сквозная!

Смотри, над нею мир и мать
Колдуют, звуки исторгая.
Но нет желанья постигать.
А только жить. Не постигая.



Галина МЕДЗМАРИАШВИЛИ

●
Спасибо вам за вдохновенье,
За строк полет или паденье,
За мимолетный взлет души.
В звящем городском трамвае,
Или в горах—ночной тиши,
Я слышу ваш приказ — пиши!

Спасибо за бессонность ночи,
Спасибо за сумбужность строчек,
За свет в окне моем далеко,
Где я с словесным бьюсь потоком,
Всю ночь листов марая гладь,
Затем, чтоб утром их порвать!



Грешный светлый твой лоб поцелую.
Тотчас хрипло окликну впустую.
Постою. Ворочусь домой.
Вот и все. Отключу розетку
Телефона. Запью таблетку
Люминала сырою водой.
Спать пластом поверх одеяла.
Медленно в изголовье встала
Рама, полная звезд одних.
Звезды ходят на цыпочках около
Изголовья, ломаются в стекла,
Только спящему не до них.
Потому что до сумерек надо
Высоту навестить и прохладу
Льда, свободы, воды, камней.
Звук реки — или Терек снежный,
Или кран перекрыт небрежно —
О, как холодно крови моей!
Дальше. Главное не отвлекаться.
Засветло предстоит добраться,
До шоссе на Владикавказ,
Чтобы утром... Но все по порядку.
Прежде быть на почте. Тридцатку
Получить до закрытия касс.
Чтобы первым экспрессом в Тбилиси
Через нашатырные выси —
О, как лоб твой светлый горяч! —
Авлабар обойду, Окроканы.
Что за чушь! Не закрыты краны.
То ли смех воды, то ли плач,
Не пойму. Не хватало плакать.
Впереди февральская слякоть.
На будильнике пятый час.
Ангел мой! Я тебя не неволю.
Для того мне оставлено, что ли,
Море Черное про запас!



Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом
Хвойной тропинкой взойшли на обветренный холм —
И примостились бок о бок над самым оврагом —
Я под сосною, а ты на откосе сухом.
В то, что предстало тогда потемневшему взору,
Трудно поверить: закатная медная ширь,
Две-три поляны, сосняк и большие озера,
В самом большом отразился лесной монастырь.
Прежде чем тронуться в путь монастырской дорогой,
Еле заметкой в оправе некошенных трав,
Мы битый час провели на поляне пологой,
Долго сидели, колени руками обняв.
Помнишь картину? Охотники лес покидают.
Жмутся собаки к ногам. Вечереет. Февраль.
Там, в городишке, и знать, вероятно, не знают
Всех приключений. Нам нравилась эта печаль.
Было так грустно, как будто бы все это было —
Две-три поляны, озера, щербатый паром.
Может и было, да легкое сердце забыло.
Было и горше, но это уже о другом.

Мы знаем приближение грозы,
Бильярдного раскатистого треска —
Позвякивают ведра и тазы,
Кликушествует злая занавеска.
В такую ночь в гостинице меня
Оставил сон и вынудил к беседе
С самим собой. Педальми звеня,
Горбун проехал на велосипеде
В окне моем. Я не зажег огня.
Блажен, кто спит. Я встал к окну спиной.
Блажен, кто спит в разгневанном июле.
Я в сумерки взгляделся — предо мной
Сиделкою душа спала на стуле.
Давно ль, скажи, ты девочкой была?
Давно ль провинциалкой босоногой
Ступни впервые резала осокой
И плакала и пела? Но сдала
И сидя спишь в гостинице убогой.
Морщинки. Рта порочного углы.

Тяжелый сон. Виски в капели пота.
И страшно стало мне в коробке мглы:
Ужели это все моя работа!
С тех пор боюсь — раскаты вдалеке
Поднимут за полночь настойчиво и сухо.
На стуле спит усталая старуха
С назойливой мухой на щеке.
Я закричу, умру — горбун в окне,
Испуганная занавесь ворвется.
Душа вздрогнет, медлительно очнется,
Забудет все, отдаст усталость мне
И девочкой к кому-нибудь вернется.



Чуть свет, пока лучи не ярки,
Еще при утренней звезде,
Скользить в заплатах байдарке
По голой пасмурной воде.
Такая тихая погода
Лишь в этот час над головой,
И наискось уходит в воду
Блесна на леске голубой.
Здесь разве только эти громки
Удары сердца в тишине,
Да две певучие воронки
Из-под весла на глубине.
Здесь жизнь в орехах и ошибках
(Уже вчерашнюю на треть)
Легко, как озеро в кувшинках,
Из-под ладони оглядеть.
Она была не суетлива,
Не жестока, не холодна.
Всего скорее справедлива
Была, наверное, она.



Без усталости вокруг больницы
Бежит кирпичная стена.
Худая скомканная птица
Кружит под небом дотемна.
За изгородью полотняной
Белья, завесившего двор,
Плутает женский гомон странный,

Струится легкий разговор.
Под плеск невнятицы беспечной
В недостопамятные дни
Я ощутил толчок сердечный,
Толчку подземному сродни.
Потом я сделался поэтом —
Проточным голосом — потом,
Сойдясь московским ранним летом
С бесцельным беличьим трудом.
Искусство женщину смещит.
В музее женщина встречает
Портрет свой. Головой качает,
Не узнает — и прочь спешит.
Шути. В обиду не ударюсь.
Я не смущен смешком твоим.
Есть только мой бумажный парус,
Живой дышащим моим.
Возьмите все, но мне оставьте
Свободный ум, спокойный дом,
Фонарный контур на асфальте
Да сизый тополь под окном.
В конце концов не для того ли
Мы знаем творческую власть,
Чтобы хлебнуть добра и боли,
Отгоревать и не проклясть!



Взъерошенный звук окольцую,
Пугливое слово стяну
Кольцом — и на завод пустую
Ладонью тихонько толкну.
Круги разошлись по бумаге.
Нырок, ошарашен и слаб,
Колотит в надломленной влаге
Кленовыми листьями лап.
Покрякай, нырок несмышленный,
Посланец кочующих слов,
О том, как на кухне зеленой
Донельзя смешон птицелов.
Ему почему-то не просто,
Когда, гомоня о любви,
Поспешные вешние звезды
Ломают скорлупки свои.

●

Есть старый флигель угловатый
В одной неназванной глуши.
В его стенах живут два брата,
Два странных образа души.
Когда в ночной надмирный омут
Всем миром смотримся, как встарь,
Они идут в одну из комнат,
В руке у каждого фонарь.
В янтарных полукружьях света
Тогда в светелке угловой
Видны два женские портрета,
И каждый брат глядит на свой.
Легко в покоях деревенских.
Ответно смотрят на двоих
Два облика, два лика женских,
Две жизни бережных моих.
Будь, будущее, безымянным,
Будь, прошлое, светлым-светло.
Все не наскучит братьям странным
Смешное это ремесло.
Но есть и третий в доме том.
Ему не сторожить портрета.
Он запирает старый дом
И в путь берет котомку света.
Путем кибиток и телег
Идет — полями и холмами —
Где голубыми зеркалами
Сверкают поймы быстрых рек.

◆

БЕЗ ПОСВЯЩЕНИЯ

1.

Тихим шагом уходят деревья... Тепло покидая,
мы за ними идем — этой улицы больше не будет.
Перелетные души, какого вам надобно рая?
Что за крыша укроет тебя, заблудившийся путник?
Переспели овраги, и солнцем пресытилась почва.
На просторах причудливых дни затерялись — не сыщешь.
Новый дом возвели, как положено, быстро и прочно, —
только ветер один между стенами стылыми свищет.
Мы уходим, а следом за нами деревья и травы...
Даже листьев движение — и то повторить невозможно.
О, какие напишутся лица, и песни, и главы
в одиночестве людном, овянном пылью дорожной...

2.

Белокровье зимы — вот причина, что клонит ко сну
этот город, где высятся тяжелорукие краны.
Но из пальца не высосать солнца — помянем весну,
подростковый фальцет ее, резкий, тревожный и пряный.
На бетонной стене чей-то профиль гнездо себе свил,
как на мраморе, — так и живем по квартирам, по норам.
Мускулистые камни вздымаются... Хватит ли сил
их душой наделить, совладать с их засильем и вздором?
Ты — один среди них, ты — один никому не чета.
С верной тенью своей ты поделишься хлебом насущным
и под собственным солнцем сгоришь. А твоя нищета
будет зваться свободой в каком-то далеком грядущем.

3.

Я найду эту землю, найду среди гор и лесов
и, поднявшись по лестнице — старой, живой, деревянной,
постучусь в эти двери, и гроздя чужих голосов
теплым соком нальются, очнутя родней безымянной.
Пусть Мтацминды высокая тень вырастает опять
над живыми огнями, над водами в русле упругом.



Невозможно на зыбкой и чуткой границе стоять —
между кровью и кровью, меж звуком летящим — и звуком,
Что могу я? Куда меня улиц названья ведут?
Что ни имя — то свет, что ни имя — то слезы и слезы.
Пядь небесная, пестрого счастья земного лоскут,
и пространства глоток — от поэзии лютой до прозы.

Памяти моего деда, И. А. Шпинеля

Когда мясистым знойным днем беззвучно тлеет воздух
и вспыхивает ветошь лет под солнцем молодым,
я слышу твой уврямый шаг и твой горячий возглас,
и подступает пустота к глазам моим седым.
Я, жизнь прожившая в тебе, — в земле твоей отныне.
Ты тоже был моим отцом, ты тоже дал мне власть —
искусства вечную щцету: искать среди пустыни —
и находить воды глоток, и пить ее, и клясть.
Бог знает, в чем моя вина. Я поздно повзрослела.
Я спохватилась на бегу, да повернуть нельзя.
И ты вдогонку мне кричишь: мол, в этом все и дело.
А где-то бродит ветерок, меж лицами сквозья..
Как можно горе разделить? Как появиться дважды
на свет, кричащим и немым, с младенческим лицом?
Июль в разгаре. Мы живем. Мы высохли от жажды.
Я о глотке воды прошу перед твоим крыльцом.

Мечты приливы и отливы,
неукротимый труд волны..
Недостижимостью мы живы,
невысказанностью сильны.
И Моцарта живая вьюга,
и глаз твоих прямая речь —
все это только путь до звука,
которого нельзя извлечь.

ДЖВАРИ

Официальные восторги
как похороны тяжелы.
(В. Леонович)

Здесь в каждом камне находить черты
Верлена — и мучительно, и просто.
Это как будто становиться ростом
Повыше той сусальной суеты,
Чей объектив сквозь вакуум души
Отыщет дня разительную резкость...
Но в том и дело, что контрасты — редкость,
А свет — в истертой вековой глуши.
Полутона полузабытых слов,
Живых не в речи, а в душе у Мцыри,
Камней щербатых письма и цифры
Преобразятся в тайный часослов...
Спускаясь, уходя, но взяв с собой
То, среднее меж словом и бесчувствием,
Вы причаститесь редкому искусству
Не тех, кто строил, — тех, кто чаял боль...

Ните Табидзе

Лицо Мтацминды смотрит на Ваке,
Затылок примыкает к Авлабару,
Зажато горло в каменном мешке,
И вот — немотная нас постигает кара...
Смешно пытаться что-то говорить,
Когда и сто, и двести лет — «про это».
Здесь надобно не просто «полюбить»,
Не гостем быть, да и не быть поэтом —
Срастись, спяťся с этими людьми,
Самой землю стать, чтоб величаво
Ступали по тебе мегрелы, пшавы,

Бросая в грудь твою зерно судьбы.
И в жадной той открытости успеть
Увидеть и понять глаза Грузинки —
Два моря, две планеты, две слезинки —
И только их в душе своей воспеть...
Мне стыдно, как бесправного родства,
Строки, сторающей бикфордовой нитью,
Когда ищу о Грузии слова,
Когда я вспоминаю имя Нита.

Владимиру Леоновичу

Вослед Галактиону —
Душою — рядом с тенью,
Судьбы Лаокоона
Учась долготерпенью.
Деревья рук тяжелых.
Криницы глаз глубоких.
И нет путей дешевых —
От бога до убогих.

Родник больного сердца,
Целебный и горячий —
Увечным опереться
И прозревать незрячим.
И солнцу поклониться,
И полынье отдаться,
Ничем не поступиться,
Двуличью не предаться.

У ТЕДО

Тедо колдует — быть еде.
Хинкальный дух
хмельнее браги.
И неустанная Арагви —
Внизу, и в сердце, и везде.
Ни пошлой суеты, ни брани.
Свободой воздух напоен.
Кувшин из глины —
самобранец —
Могучей дланью осенен.

Здесь тосты вовсе не
простые —
Сама душа дает слова —
Плодить метафоры густые
Лирического торжества.
Бокалов золотые трели,
С углом сливается овал...
Нет, право, лучше
Нагвареви
Я места в мире не видал.



ИЗ ЦИКЛА «РЕЛИКТОВЫЕ СТИХИ»

●

Анархистка с синими глазами,
Кандидат немислимых наук!
Оживив грузинские скасанья,
Ты явилась мне среди подруг.
Никогда таким счастливым не был,
С плеч летит шальная голова.
В жгучем солнце — и земля, и небо,
Море, судьбы, мысли и слова...
Подрывай вселенские устои!
Силой женской мир преобрази,
Анархистка! — взгляда не достоин...
Отрицаешь? Господи, спаси!..
...Но когда очнусь я в горьком горе
И руками землю обхвачу —
В Грузии вдруг содрогнутся горы:
Это, гордый, я захохочу.

●

Бывает в жизни все в последний раз:
В последний раз я в море искупался,
В последний раз приехал на Кавказ
И только понял это — испугался.
Безмерный страх... Напрасный и пустой,
В последний раз я вижу эти горы.
В последний раз друзья мои со мной
Ведут свои земные разговоры.
— Прощайте! — говорю в последний раз
И думаю: «Ну вот, хоть плачь, хоть смейся...»
И от окна не отрываю глаз,
И уезжаю в ночь, последним рейсом.

В далекой области
 Снега высокие,
 В высоком облаке
 Глаза далекие...
 В метельном обруче
 Сугробы дивные,
 И в белом облаке
 Глаза родимые...
 В печальном опыте
 Растет отчаянье —

В любимом облаке
 Глаза печальные...
 На старом глобусе
 Отыщешь Грузию,
 Ты — в снежном облаке
 С глазами грустными...
 В морозном кружеве
 Ты ждешь, любимая,
 Я — в теплой Грузии
 Измотан зимами...

АЛЛЕРГИЯ

Был август ровен, но
 Нас вдруг засентябрило,
 И раннее вино —
 Маджари — забродило.
 И, разобрав ключи,
 Ты — в горы, я — в долины,
 Уйдем искать ручьи
 Без запаха полыни.
 Когда же, подустав,
 В наш быт недоустроен
 Вернусь из снежных
 стран —

Увижу: лечат двое,
 Из творческих натур,
 Твой приступ аллергии —
 Нетрезвый драматург
 И «сын Цхакая Гии».

Оставив не у дел
 Наследника престола,

Уедем в город, где
 Наследник наш пристроен,
 А проще — дочь. Орде
 Друзей оставив адрес,
 Уедем в город, где
 В заброшенном театре
 Ист травести ликер —
 Младенец с ликом старца,
 И грустный режиссер
 Настырно ставит Шварца...
 И сняв несложный грим
 В премьерe местной
 «драмы»,

В букете георгин
 Найдем мы телеграмму:
 «В тени тифлисских плит,
 Зачинщик прошлых оргий,
 Непризнан и небрит
 Грустит «святой Георгий»...

1.

Ночь — продолжение твоих волос...
Дождь — продолжение твоих волос...
Когда все это началось?—
Да с первых звезд и с первых лоз...
И напролет — до слез — не спать—
Дожди ночные целовать...

2.

Дожди окутают Кавказ —
Дочь будет продолженьем нас...



Желтыми листьями
Душа моя выстелилась...
Еле слышно, едва уловимо
Плачет скрипка Юлиана Тувима...
Неслышным шагом — высокой нотой —
Входит осень с небесной ношей...
Высокой нотой — неслышным шагом —
Ты проходишь осенним садом...
По желтым листьям нотой небесной
Вносит осень тебя невестой...
По кромке сада... неслышным шагом...
Как эта осень светло дышала...
Она взлетала легко над садом
И опускалась воздушным шаром...
Листья взметнулись —
Дыханье прошло по ним —
И обернулись
Белыми хлопьями...

МИМО ПРОЛЕТАЮЩАЯ СТАЯ

Ты плакала позднею ночью.
И таял над озером дым.
И стая чужих одиночеств
Кружила над домом твоим...

Когда же на тихие горы
Рассвет фиолетово лег,
Оставив заброшенный город,
Продолжила стая полет...



●


Сосед мой Игорь Меламед
Поэму пишет о бессоннице
И ночью, босый, ко мне ломится —
Но у меня бессонниц нет.
Казалось бы, что должен я
Карандаши ломать в отчаянье
И вслушиваться в шум дождя,
И в утлой рифме в ночь отчаливать:
Не от него ушла жена,
Не им забыт родимый угол,
Меня б бессонница должна
Казнить за то, что предал друга...
Но он, сосед мой, Меламед,
Он обобрал меня бессовестно —
Мою любовь, мой плач, мой бред —
Он все вогнал в свои «бессонницы».
И для его больной души
Все, что не Музыка — вторично;
Не будет рельсы класть в глуши—
Но будет здесь глушить «столичную».

А я умею быть любим—
Я уголь в топку засыпаю!..

Чужою женщиной любим,
Я крепко, туло засыпаю.

●

Пока ты не выучил текст,
И знаешь о роли ты мало,
И мало известно о тех,
Кто выйдет на сцену к финалу,
Пока еще хочется жить,
И все за столом сидят общим,
Пока ты чужое не обжил —
Уйди, заболей, откажись!..



Пой с другом веселые песни,
Смехи всех до слез в водевилях,
Но если — всерьез и навывлет,
Меняй режиссера и пьесу!
Пока и она не всерьез
Примеряла длинное платье,
Но в сцене прощания — плачет,
А стоит ли что ее слез?..
Пока не премьеры — прогоны,
Пока до исхода — два года —
Завой от предчувствия дикого,
Беги — хоть на радио диктором!..
Но нет — ты увлекся сюжетом,
Забылся, свалая дурака,
Ты предан уже, но пока
Еще ты не знаешь об этом.
И не уследил, старина,
За ней ты — за жестом, за речью —
Офелией, Ниной Заречной
Уходит с премьеры она.
Тебе был известен финал,
Ты знал, чем за это заплатишь,
Но девочка меряла платье —
И ты ничего не менял.

●

...Белая лебедь на Чистых прудах...
Что-то ты плачешь?.. Что-то ты стонешь?..
Воду зеленую крыльями тронешь —
Что-то ты ищешь в дрожащих кругах?..
Стихнешь. Устанешь. Захочется спать.
Голову спрячешь. Доброе вспомнишь.
На воду белые перья уронишь —
Значит — пора уже снегу упасть...
— Что это — сон?.. стих?..
— Осень... Зима... Спи...

◆



ТБИЛИССКИЕ СТАНСЫ

Я стыл в краях, где угасанье трав
 поддерживает ложный архитрав,
 где в длиннотелом воздухе духана
 за пазухой вина парит пасхальный дух.
 Я буквы позабыл, когда пропел петух
 под небом Грузии. Я вышел из тумана,
 Мне узы жмут, и мне претят узлы;
 на улицах завалы из золы.
 Из золота утилитарной пробы
 отлиты ангелы и тонут в молоке.
 Я должен быть по полудню в Ваке,
 где стынет в тополях дыханье Нинаобы.
 Тогда в движенье лиц узнаю тайный знак,
 Тогда на круп горы наброшенный чепрак
 орешника займется сам собою.
 Он медленно горит, он тлеет, он парит,
 он пьет вино, он внятно говорит,
 лепечет он и плачет надо мною...

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ГРУЗИИ

Ты слышал жизни влажный крик.
 Гудел закат. Шумела Мтквари.
 Ты забывал людской язык,
 чтоб внять реченью каждой твари.
 Улитки свиток, шар жука
 вместил кипящее начало.
 Мелькала в воздухе рука
 и ничего не означала.
 Был тесен свод, был краток век,
 чтоб произнестъ чужое слово.
 Ты был всего лишь имярек,
 но соль земель, но лет основа.
 Ты был насажен на иглу,
 пронзившую семь полушарий,
 и сам господь, припав к столу,
 вникал в божественный гербарий.

●

Над кудрявым огнем поднимается дым.
Вот и сумрак растаял, но следом за ним
появилась завеса тумана.
Это — бронза стволов в мутной окиси мха,
это — жизнь, что наверно была неплоха,
как в пустыне небесная манна.
Как узнать этот мир после смерти? Вода
почерневшая, ржавая там не видна,
но ручья чуть дрожащая вена
из-под снега последнего тянется. Ты
золотых облаков наблюдаешь гурты
из телесного узкого плена.
Пелена узнаванья растаяла. Так
вместо воздуха вижу раскрывшийся мак.
И его бесподобное тело
в утлом зренье моем завершается, но
этот фильм безалаберный, это кино
промелькнуло так быстро, истлело.

●

О воздух крылышки ломая
и вроде бы теряя вес,
стрекоз рассерженная стая
прибрежный покидает лес.
Они взвиваются, как нити,
их невозможно удержать.
Как нас пугает, сочинитель,
твоя раскрытая тетрадь.
Твой почерк — сверстник тяжелой влаги —
порой так жирен, так гнетущ,
нам не пройти твои овраги,
не выбраться из этих кущ.
Нам и исчезнуть не под силу
меж двух твоих могучих строк.
Какая нас рука впустила
и дверь закрыла на крючок?
Ну вот и плачешь в самом деле,
и кажется, что этот лес
недужный, влажный, пустотелый
почти расплавился, исчез.

В почти разглаженной, пригубленной у рта,
еще поблизости стоящей, праздной, мокрой,
есть в осени степной смертельная черта
застолья позднего, когда полупуста
посуда жалкая и норовят уста
всем выболтать запретное. Так охрой
тяжелой, мертвенной — в степи залег недуг
и обозначил то, что столь любили, только
в совсем иных тонах, как будто чуждый звук
мы в голосе родном узнали и из рук
случайно выронили что-то, и испуг
татарником разросся. С этих губ
неужто мог слетать чужой, немилый, колкий
и лживый звук. Казалось, гул октав,
густой, владетельный, перебродивший в нише
под чашами грудей, на цыпочки привстав,
и гортани тянется жгутом плюща, достав
любимых губ, и влажною листвой шевелится, припав
к раскрытым раковинам слуха. Но колышет
горячий ветер переборы трав
еще живой степи и пропадает выше,
все иссушив, измучив всех, застав
не вовремя, но говорить уже не стоит тише.

День до сумерек выпит
и теперь пустота,
словно «Бегство в Египет»,
по холстам разлита.
Уж декабрьский мощный,
набирающий рост
на Дворцовую площадь
лег ночной купорос.
Нам ли прежде дышалось?
День как будто вдали
растворился, и жалость
лишь осталась внутри.

Так приблизилась просинь,
что была далеко,
мы уже не выносим
снег, идущий легко.
Мы ему не прощаем
влажный, нежный размах,
этот рой, эти стаи,
эту кипу рубах.
И почти без натуги
из-под сомкнутых век
видим столь неупругий
и мучительный снег.

Саратов, Ленинград

●

Ты в воздух граненый налей мне немного вина,
чтоб время любви не дышало тоской и разладом..
В котором часу над Тифлисом восходит луна,
расколотым солнцем сияя над домом и садом?
Кончается год, погремушкой речи гремя,
и каждое слово в себе совершает молебен,
а воздух, который во сне окружает меня,
в тисках немоты виноградною кровью целебен.
О, воздух Тифлиса, спасибо тебе за труды,
я б тоже жила в бесконечной твоей круговерти,
когда бы не камень, влекомый магнитом воды,
но рвущийся вверх за минуту до будущей смерти.
Пустым языком чужеродных небес не гневи:
твой воздух не спет и дыханьем еще не исписан..
Усталым ребенком на тесных ступенях любви
сизу и не вижу, как плачет луна над Тифлисом.

●

В рассеченном надвое Тифлисе
что ты будешь делать с виноградом,
меч Куры прохладной положив, —
полумертв, обманчив, полужив?
Узнаю твою повадку рысью
только светом, только темным взглядом,
руки тела к горлу приложив.
Меч текущий, обоюдоострый,
веер сада однотонно-пестрый,
горло рассекающая речь,
где металл и влага — только сестры,
им дано твою гортань рассечь.
...Государь кудрявый виноградник,
чем ты хочешь мне ответить — кровью?..

●

Среди зимы, в кристалле января,
в своей убогой келье притворя
входную дверь и ставни на две трети,
ты вспомнишь тусклый свет от фонаря,

услышишь, как во сне смеются дети,
увидишь, как блестит в снегу алмаз
и как зима благословляет нас.
Мятежный дух становится безгласным
среди зимы, в ее кристалле ясном,
покуда снег, летящий наугад,
одним крылом ложится мне на плечи,
другим крылом витые гасит свечи,
своим огнем растущие, как сад.

Да, эти свечи как деревья встали
среди зимы, в ее пустом кристалле,
который долго держишь ты в руке...
И мы молчать и плакать перестали,
чтоб плакать друг от друга вдалеке.

●

Как только вдовый ветер может петь,
то поглощая свет, то излучая,
как птица чует будущую клеть,
как неимуций рассыпает медь,
внутри себя богатство расточая,
так сердце, не способное гореть,
пытается вздохнуть и умереть.
Но если свет отхлынет от лица,
пустое время ляжет нам на плечи,
и дом, лишенный двери и крыльца,
пустое сердце разомкнет для встречи.
Раздвинув время, ты войдешь туда,
в наполненное будущим предсердьи,
где отливает серебром вода
и злобою чревато милосердьи,
как масленица жирная — постом,
любовь — разлукой, дерево — крестом.
И все свое оставив позади,
ты встанешь тихо возле темных окон,
внутри забвенья, в собственной груди,
в нетленной смерти...

●

Все тронулось с места, как будто несло
теченье тебя, а другое теченье
его повернуло —

и этим спасло

мгновенье, в котором сужается зло,

спасенье мое и твое отречение.

Как стиснуто светом тугое кольцо!

И в воздухе виснет оно и лучится,

и светятся руки твои и лицо,

когда отболевшее прошлое мчится,

как птица, и падает мне на крыльцо.

И будущей встречи святая вода —

исход благовещенья и созерцанье

внезапного чуда, сказавшего «да»,

уснувшего зренья двойное мерцанье,

ожившего тела двойная звезда.

Мы оба задеты полетом ее —

любви наступающей поступью дивной.

Любимый! Да светится имя твое,

как имя Мария в ночи неизбывной!

Как имя другое в сиянии дня

восходит в короне листвы небывалой,

последним теченьем качая меня

рукою сияющей, темной, усталой...

ВОСПОМИНАНИЕ

Вероотступник держит камертон

и пленный дух настраивает он,

как некий инструмент исповедальный,

в котором струны заменяет часть

его сознания, где трепещет страсть...

В границах звука мой двойник зеркальный

идет по коридору, где на треть

открыты двери.

Воздухом согреть

нельзя разлуку. Но дыханья доза,

достаточная, чтобы умереть,

врывается в минувшее, как в клеть,

и пепел распускается, как роза

в твоих руках.

И цветники на юге

греховным наполняются огнем,

когда мы отражаемся друг в друге

и отраженья, как подковы, гнем.



ЛЮБЕ

Не шум, не шум листвы небесной,
не свет, не свет звезды земной,
не камень в оболочке тесной,
не дождь, как время, проливной,
но тот, кто спит в земной утробе,
обвит корнями пуповин,
кому — в ладье, кому — во гробе,
кому — как свет, неуловим,
является — крестом из кожи,
рукой за окнами вода,
и мать кричит ему: «О боже,
куда же ты, мое дитя?!»
А ты не верь пустому звуку,
когда во сне в урочный час
нам жизнь протягивает руку
и смотрит из окна на нас.

Кончается июнь, и день голуборогий,
пугливый, как олень у логова врага,
в сиянии небес, торжественный и строгий,
минуя облака, несет свои рога.
А вслед ему летят медлительные птицы,
и пены хоровод, и облако воды,
улыбки, мотыльки, и пчелы, и ресницы,
листы черновиков и спелые плоды.
Как душны вечера перед медовым Спасом!
Заварим кипятком прозрачный липов цвет,
и встанут небеса резным иконостасом,
и будет сад шуметь, и минет много лет.
Полет моих плодов, налитых пьяным соком,
встревожит старый сад соблазном высоты,
и будет он молчать и думать о высоком,
и вновь навстречу мне протянешь руки ты...

Саратов

●

...Но вот ночная Грузия раскрылась, словно книга,
и город странный замерцал страницей наугад —
прости, мой друг, ужели ты забудешь, как возникла
необходимость в тишине в кругу живых оград?
Такой покой вне декабря представить даже страшно:
выходит дождь на небосклон в одежде царской сна
и липнет к небу, как луна соленого лаваша,
что делать — полночь в декабре во Мцхета солона.
Камням соленым все равно, ты был здесь или не был,
но ныне только для тебя, приняв твою свечу,
по улице Арсена дождь восходит прямо в небо,
на каждый камень мостовой роняя по лучу.
Чем ты заплатишь декабрю? — словами цвета соли,
полурублевою свечой — она еще горит...
А что останется тебе? Лишь память о покое,
на улице Арсена дождь, да строки серых плит...

РАССВЕТ

Мерцанье, медленное тленье,
горенье медленное там,
где пенье предрассветной тени
проходит ветром по домам.
И в доме, скомканном ветрами,
открытом лету с трех сторон,
летит оса к оконной раме
и бой часов похож на стон:
здесь трудно петь и трудно слушать,
как птицы сквозь бетон растут,
чтоб скомканным письмом разрушить
в почтовом ящике уют.
И перед ящиком почтовым
ладони жжет птенец письма,
рожденный нерожденным словом
в себе самом... В себе сама
душа на ниточке повисла —
так покаянное письмо

исполнено двойного смысла,
как яблока двойное дно.
Как в яблоке — двойное дно, —
увидев дня двойную чашу,
наполненную сном и льдом
рассветных улиц, можно нашу
вернуть к началу речь: ведь в дом
пришло второе поколение
часов и ос земных, и сквозь
стихи — отверстия для зренья —
проходит дня двойная ось.

С. Кековой

В течение дней намечен перелом —
плеснула птица влажная крылом,
и яблоки на деревянном блюде
приносят ночью в дом чужие люди,
и смотрит в окна влажная луна,
как женщина с огромной левой грудью,
и в зеркала медлительных планет
льет ровный свет безлиственный кларнет
многоэтажного жилого дома.
Чужих зеркал вниманье благосклонно:
в них птица влажная отражена —
ржаного клена крашенная корона.

Мне надоело сравнивать тебя
с листом и птицей, деревом и светом:
который год, минуты торопя,
ждать вечера и верить, что с рассветом
пришедший день подарит на бегу
тень встречи или два случайных слова,
а может быть, строку... Я не могу,
сравнения кончились, и чтобы снова
вернулась речь (смешно, не правда ли?),
для этого мне слишком много надо:
твое лицо и руки, а вдали —
последний лист эпохи листопада...

●
Когда в начале не было ни слова,
но были строки умерших стихов —
огромный март в обличе птицелова
стелил по небу сети облаков.



И потолок раскачивался тихо,
ложась пластом на сигаретный дым.
Казалось, что в душе неразбериха
окончится лишь вместе с жизнью... Стыл
за окнами проспект бетонный. Мимо
трамвайной остановки падал дождь,
не очень быстро, словно ключья дыма
на землю оседали. Била дрожь
деревья, как перед рождением слова...
Блажен будь, март! Твоя прямая речь,
наполненная гласными былого,
живет во мне, но тяжело облечь
в слова надежду на начало лета,
начало жизни — третий раз подряд.
Но осень принесет немного света,
потом зима — и вновь наступит март.

●
Ах, как много вокруг безымянного липкого снега!
Это стелит постель засыпающей жизни зима,
засыпая пути бесконечного сонного бега,
чтоб душа от души снегопадом была спасена.
Стихнет ветер, когда свет далекой звезды

в поднебесье

долетит до земли и вырастет в синеву ноября.

В чем был прав ты сейчас — ты не вспомнишь потом,
как ни бейся,

утопая в снегу, отделяя себя от себя.

Ночь прозрачна, как снег, и в мышинной возне снегопада
я движенье стекла, как шаги ноября, узнаю,
и по скользкой дороге, ведущей к обрыву из сада,
я иду не спеша, потому что скрываться не надо
от себя самого, у себя самого на краю...

●
Какая мука — до утра,
прекрасно зная, что нелепо

держат дыхание у рта,
незряче всматриваться в небо
и слушать скрип чужих шагов,
неведомо в каких пределах —
на улице, среди снегов,
до умопомрачения белых,
а может, около виска —
но это только легкий воздух...
Бесплотная, как ночь, тоска.
Бесплодный, обморочный отдых.
И снег ложится на верхи
деревьев, словно клочья ваты,
как ночь, проросшая в стихи...

Они-то в чем же виноваты?

●

Нелепо говорить во времени прошедшем
нам о вчерашнем дне — он длится и сейчас,
лишь маску изменив, он ливнем сумасшедшим
стучится по стеклу, пытаясь вызвать в нас
желание прожить его еще хоть раз...
Но речь дождя не принимает разум:
нельзя смотреть в окно, одетое дождем,
и замаскировав любовью к длинным фразам
вчера прожитый день, мы завтрашний не ждем.
Дождь не прольется вверх, и ночь не станет днем,
а день пройдет, как дождь, в ненужных переменах,
и деревянный стук воды по мостовой
похож на разговор влюбленных манекенов
под мерный ход часов... Мгновение, постой.
Пускай вчерашний день пульсирует, как вена,
в сегодняшнем виске, пускай в свой точный круг
рывком вернется дождь, нас изменив мгновенно
и став самим собой, под шелест свой и стук.

Саратов

◆

КАРТЛИ

О, дайте вознести хвалу
долинам в дымке стад овечьих,
холмам, глазами лоз на вечность
смотрящим. Вечность же к столу,
поставленному среди сада
в траву с вечерней синевою,
где развеивает полог свой
низин плывущая прохлада,
подаст нам терпкого вина
в бутылках с мутностью подвальной,
плодов округлых и овальных,
запечатлевших времена.
И бесконечными ночами
на бальзамических холмах
пьем благотворное маджари,
благословенное в умах.

ГРОЗА

Сама с собой, как зверь играя
и улыбаясь мне из мглы,
ты открывала тему рая,
что весь — на острие иглы.
Блистали выкрики, и пели
металлом молнии, а ты
читала строки Руставели
невидимо из темноты.
И в этом влажном черноземе
я чувствовал твое тепло.
Трещали бабочки в озоне,
в стеблях спокойствие текло.

●

Я шел долиной. Полог дня
от зноя тяжкого прогнулся.
Лоза взглянула на меня,
и я, смутившись, покачнулся.

Но это был уже не взгляд,
а отзвук древнего стенанья —
и время потекло назад,
вслед волооча воспоминанья.
И видел я не рай, но ад,
где камень чутко спал, но чаще
кричал, а дикий виноград
царапался и рвался в чащи.
Немые спорили ветра,
сминая поросли глухие.
Арагве вторила Кура—
так вторить может лишь стихия.
На каждый звук рычал Дарьял,
но беззаветно и бесстрашно,
одолевая матерьял,
монах из камня строил башню.
Когда отвесная стена
пересекла предел орлиный,
здесь получили имена
селенья, горы и долины.
Здесь камень был приговорен
служить величию деяний,
и славный первенец рожден
хранить торжественность преданий.
Первопроходец отмечал
свои владения оградой,
он аргамаков приручал
и сладость кисти винограда.
А сын его уже имел
царя, законы и молитвы,
вина отстоянного хмель
для песнопений и для битвы.
И все, что видел я, слилось
в круг колеса и покатилося,
а то, что прошлым назвалось,
в лозе набухшей воплотилось.

ЧЕКАНЩИК

Что ни вплетешь, веселясь, в хоровод,
стебли цветов или девушек стройных,
все перед взором моим предстает
в славных деяньях, великих достойных.

Мудрый чеканщик над бронзой с резцом
он ли постиг бесконечность терпенья? —
напоминает прекрасным лицом
лик Саваофа в седмицу творенья.
Сфера кувшина — подобна она
сфере Вселенной — на ней же сольются
мера поэзии с мерой вина —
и параллельные пересекутся.
Как хороша эта кровная связь:
тела, лозы и умеющей длани.
Девушка кисть винограда, смеясь,
юноше дарит, но крайность желаний
гонит его по земле — пока жив.
Он и не знает, что в Пшави иль в Мцхета,
путь опоясанный свой совершив,
снова столкнется он с девушкой этой.
Мудрый чеканщик, творенье твое —
не прорицанье Вселенной ли это?
Мы же при встрече нальем и споем,
и, уходя, только вымолвим: «Гмерто!»

Волгоград

Михаил КРАЛИН

В ЗЕРКАЛЕ ДАВИДА КАКАБАДЗЕ

Этери Андроникашвили

Глупа на мир обида.
Я больше и не злуюсь
И в зеркале Давида
На время поселюсь.
Побуду в зазеркалье,
Где время каплет с крыш,
Быть может, Забайкалье,
А может быть, Париж.
Жемчужно-серый дождик
Идет как заводной.
Что щиплешь ус, художник,
Ты недоволен мной?
Но если ты в Тбилиси,

То в зеркале должны
Жить горестные выси
И солнечные сны.
И ты, о грустный
странник,
Мой запоздалый гость,
Живи не как изгнанник,
Дави любую гроздь!
Глупа на мир обида,
Когда встает рассвет
И в зеркале Давида
Курится жизни свет.

О нет, не Грузия грызущая,
Не злая эта Алазань.
Тоска, Соломинку сосущая,
Не ностальгический бальзам.
Став иверскою богородицей
Для всех, кто молод и влюблен,
Прошла времен чересполосицей
И ускользнула в Альбион.
Дарьяльских глаз ее мерцающих
Иссяк искрящийся поток,
В пустыне дней пересыхающих
Пришел ее последний срок.
Не о тринадцатом, прославленном
В поэме Анны навсегда,
Ее тоска по тем оставленным,
Что не увидит никогда.
Дожить бы до конца столетия,
Знать, что у века на уме...
«Как ненавижу фатум смерти я!» —
Писала мне она в письме
Последнем... Умерла Соломинка,
Как все умрем в урочный час.
Но тень ее — седая горлинка —
К своей Мтацминде понеслась.

Поэзия — все та же эстафета,
Где впору не вперед — назад взглянуть
И выдохнуть мучительного Фета,
И сладостного Бальмонта вдохнуть,
И задохнуться Анненским... и снова
Барьеры брать назад, а не вперед,
Где светит солнце Пушкинского слова
И Муза плача с дудочкой идет.

Ленинград

ВЕСНА В БОРЖОМИ

Веселый мартовский снежок,
задира и проказник,
со мною пил на посошок —
спешил на женский праздник.
Но — опоздал. И таять стал.
И долго по ущелью
шептались в переулках скал
напудренные ели.
А я шел в горы. Вверх. К весне!
Чудак, на день, на час ли,
я быть хотел и был вполне
неизлечимо счастлив.
Мне зацвели в небесах
малютки-цикламены,
и жизнь, качаясь на весах,
сулила перемены.

ФРАГМЕНТЫ ПАМЯТИ

М. И. Келаптаришвили

1.

Кистью художника правит мечта:
так прикоснуться к обычным предметам,
чтобы по самым ничтожным приметам
миру вернулась его чистота,
чтобы за долькой лимонной к холсту
руки ребенка беспечно тянулись,
взрослые чтобы хоть раз улыбнулись
и оглянулись, пока все в цвету.

2.

Приласкаю поутру их,
в одиночество свезу,
на шести шипучих струнах
отбаюкаю слезу;
отпою и отпылаю
в зазеркальный окоем;

счастья им — мечта былая —
пожелаю с новым днем.
И расстанемся стихами
в межпланетном корабле...

Черной ягодой в стакане
стала память о земле.

КАРТЛИ

Пока случайный снег
подкармливает лужи,
пока Куры разбег
ущельями застужен,
пока и солнца нет,
и у таксиста — насморк,
пока пижон-сосед
глочет чачу наспех,
пока нет наглых щек
на неколхозном рынке,

и не раскрыт еще
целящий томик Рильке, —
грузинские поля
уже трудом согреты!
Покой обрел мой взгляд
от Гори и до Мцхеты.
И в этот ранний час
я, родом с Украины,
хочу обнять всех вас,
друзья мои, грузины.



Все становится вдруг белокурым;
обозначились годы грубей, —
проплывают по улицам хмурым
ожерелья ночных голубей.
В этих поздних скитаниях блесков —
ни утрат, ни упреков пока.
И мигает вдали перекресток,
и вчерашняя ноша легка.



Я всего лишь — повторенье
чьей-то жизни на земле!
Я всего лишь — исцеленье
чьей-то раны на земле!
Я всего лишь — упоенье
чьей-то страстью на земле!
Чьи-то слезы, чье-то пенье —
я, не живший на земле!

Керчь



К ТБИЛИСИ

Кого сегодня выбрал Ты
Для скачки колдовской
Из опустевшей суеты
В наполненный покой?
Кому на небе в белой рани
Седлаешь синего Мерани?
Кого, уставшего в седле,
Вернул заботливой земле?
С кем лихо на хмельном пиру
Шумишь безудержно в миру?
Кого выпускаешь в тихий храм?
Чьим зачарованным глазам
Позволишь не забыть вовек
Фиалки в январе, в апреле снег?

ФРЕЗИИ В ГЛИНЯНОМ СОСУДЕ

Из цикла «В мастерской художника»

Р. К.

Сколько на свете цветов, но эти...
Щупаю глазом упругие мышцы соцветий.
Эти цветы, они кажутся вправду живыми,
Эти цветы, у которых опасное имя:
Фрезии, фрезии...
Тонкое гибкое лезвие
Где-то шуршит в ожидании часа.
Каждый синий цветок — мягкая лапка барса
С бархатной шкуркой на кисти --
Перетекает смело
Не в пушистое тело,
А в голые стебли,
В шарообразные листья.
Стебли и листья — грозди зеленых змей:
Четверо грозных змеиных семей
Горды собою,
Делают стойку, готовы к бою.
Сейчас они брызнут сочным ядом!

Кто это рядом
Не дает мне вздохнуть?
То ли старцы жуют губами,
То ли младенцы, уткнувшись лбами
В материнскую грудь,
Сосут и сосут,
То ли все это чудится слуху...
Кто засунул цветы в сосуд?
У кого хватило духу?
Каждый красный цветок — язык огня
В магии злой.
Сыт, а то бы сожрал меня.
Пахнет золой.
Цветы — на картине, на картоне,
Даже не на пейзаже.
Они пока устроились твердо
В квадрате натюрморта,
Готовые к новому риску.
Не подходите к ним близко!
Я так говорю о цветах впервые:
Опасно. Они живые.

СКЛОНЫ ВАКЕ

Склоны гор, заслонив полной грудью
От пустых горизонтов меня,
Вновь солгут, будто горы и люди
Без меня не прожили бы дня.
Склоны гор поклянутся мне честью,
Что прозрачен осенний туман
И что в мире все свято на месте,
Даже этот наивный обман.
Не согласна — солгут мне невинно,
Что утешить меня бы смогли,
Что в сиреневом нимбе вершина —
Это ангел-хранитель Земли.
Будут лгать мне от бога, от света,
Не соврав никогда ни за что,
Как умеют одни лишь поэты
И грузины, а больше никто.

В этот день мы куда-то всё шли:
 Шли то прямо, то вправо, то влево;
 Ничего не искали — нашли
 Это древо
 На горке в городе старом.
 Оно оказалось чинарой.
 Под его темной сенью
 Было светло,
 Когда осененье
 На Землю сошло...
 Зло — химера,
 Его нет и не было.
 Равнодушие — гипербола,
 А добро — постоянная мера
 Пространства и времени.
 Мы бродили до темени
 В торжестве невесомом,
 И над каждым проплывающим домом,
 Синее сапфира,
 Переливалась аура мира.
 Все вокруг отрекались от злобы.
 К нам добры были даже микробы —
 Мы заболеть не могли,
 Когда прямо с пыльной земли
 Ели плоды шелковицы.
 Нам светили прозревшие лица.
 Попадись нам еще один ласковый взгляд,
 Мы бы больше уже не вернулись назад, —
 С миром связаны тайным обетом,
 Стали светом, сапфировым светом,
 Не ушли бы ни в прошлый, ни в завтрашний день.
 Но чинара отбросила черную тень,
 Обозначив черту,
 За которую не заступить.
 Оборвалась какая-то нить.
 Мы, к несчастью,
 Возвратились опять в суету,
 Но теперь уже только отчасти...

ВЕЧЕР В СУХУМИ



Ты окунись в ночную негу
И, как подхвачен легким бризом,
Сложив ладони, взвейся в небо,
Чтоб стать одним из кипарисов,
Чтоб не пройти случайно мимо
Их тайной вёчери у моря,
Чтобы вписаться в пантомиму
Их неразгаданного горя...

●
Есть камень такой, бирюза.
Говорят, это вовсе не камень, а кости
Людей, убитых любовью.
Не будем гордиться собою,
Прятать глаза,
Делать вид,
Что мы на чужих поминках гости
И у нас ничего не болит.
Не будем гордиться.
Вглядимся в свои утомленные лица,
В измученные глаза...
Есть камень такой, бирюза.

СОН В ТОЛЕДО

ИЗ «ИСПАНСКОЙ ТЕТРАДИ»

Глухо бьют каблуки о подмости,
Как в боевой барабан.
Бой гудит, как вулкан.
Души жёстки.
Сабли остры.
Пёстры одежды.
У мавров нет надежды.
На колени, враги, на колени!
В Толедо на сцене
Кончается бой.
Возьмите меня, кастильцы, с собой!
Я давно готовлю побег
В тринадцатый век.

Здравствуйте, гранды!
Я донья Фернанда...
Не узнают. Не та осанка.
Не та посадка
В седле.
Не та походка по земле.
Простите, гранды!
Я служанка доньи Фернанды, —
Она меня знает с детства...
Не узнают. Не то кокетство.
Я жена виноградаря из-под Кóрдовы,
Пройдите в наш сад
Отведать крестьянского крова,
Вина, прозрачного, как слеза...
Не узнают. Не те глаза
Чёртовы,
Что вмиг отрезвят хмельного,
Трезвого — опьянят.
Вы что-то спросили?
Я монахиня из Севильи.
Вы глядите с презреньем.
Говорите, не то смиренье...
Подайте нищенке десять песо!
Вы уходите. Кончилась пьеса.



МАРТ

В Тифлисе туманно, туманно, туманно.
Зеленая Мтквари

с моста не видна.

И в этом тумане мне слышится:

— Анна!

Но некому звать меня, я здесь одна.

Ах, в марте в Тифлисе

не мокро, а слезно.

И даже дома,

типовые вполне,

Здесь слеплены так,

словно ласточки гнезда :

Лепили поспешно,

готовясь к весне.

А в старом районе шарманка — откуда? —

Вздыхает и плачет,

пронзая туман.

И душу пронзает

надеждой на чудо

Старинный, и хриплый, и нежный обман.

БАКУРИАНИ

От сумятицы, страданий,

От терзаний «быть — не

быть»

Я лечу в Бакуриани

Сердце бедное лечить.

Там, где горы, там, где

воля,

Одиноко, высоко —

Я к своей привыкну боли,

Выпрямлюсь, вздохну легко.

На гору, туда, где тучи

Влажны, тихи и белы,

На подъемнике скрипучем

Подниму я пару лыж.

На вершине холод — ох

ты! —

Рук замерзших не согреть.

Съехать с этой самой

Кохты —

Все равно что умереть.

Оттолкнусь. И снежный

ветер

Слезы вышибет из глаз.

Съеду, как живу на свете —

В первый, как в последний

раз.

Белый свет насквозь

пронижет,

Навсегда меня пронзит...

От инструктора по лыжам

Мне под вечер нагорит.
Буду в ожиданье бури
Чаепитье затевать
И инструктора Тваури
Дядей Колей называть.
Он бранит меня не сильно —
Мудрый, сильный, как лоза.
И смеются его синие,

Его старые глаза.
«Что ты, — скажет, —
здесь, где горы.»
Не горюй в твои года.
Здесь и старость-то не
горе...
А уж горе — не беда».

СВОБОДА

Я ухожу — куда угодно,
И ты не смотришь мне
 вослед.
Меня опять на свете нет.
И это значит — я
 свободна.
Свобода! Мне не передать,
Какой ты грубой муки
 стоишь,

Пока собою удостоишь.
Но после — что за
 благодать —
Не быть. Не помня, не
 любя,
Свободная, ничья, как ветер.
Ну вот и нет меня на
 свете.
И это значит — нет тебя.

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ

Памяти хореографа
Сулеймана Бурханова

В марте, в ночь погиб
 Бурханов,
Легкомысленный Бурханов.
Жил нелепо он и просто —
Танцевать учил детей.
Прыгал он, махал руками,
Был он маленького роста,
Говорил с акцентом легким,
Одевался без затей.
Он болел. Но не опасно.
Умирают ли от астмы?
По ночам скрипело в легких,
Утром — думать забывал!
Он поставил «Буратино»,
Он попал в кинокартину,
Он хотел, чтоб толстый
 мальчик
Польку-Анну танцевал.
И погиб. В гробу сосновом

Он лежит в costume новом,
Маленький, сорокалетний,
И на Пушкина похож.
А бывало, он без шапки —
У него кудрей охалка —
В снегопад летел, не зная,
День погож иль непогож.
Двести маленьких артистов,
Примулы в ладошках
 стиснув,
В репетиционном зале
В день холодный
 собрались.
А потом в лесу за Камой
Над пробитой в глине ямой,
В толчее, как на вокзале,
Слезы детские лились.
Снег идет, и плачут дети.
Их учитель жил на свете



Ты тосковал, как я тоскую.
Ты понял вдруг мою тоску!..
Ты знал, что открываться рано,
Что холодно. Но вот вздохнул
И встал, чтоб распечатать рами.
Рванул — и настезь распахнул.
А я в твоей столице слышу
(О, здесь цветенье, блеск и зной!),
Как плачет, плачет каждой крышей
Далекий, господи, родной
Апрельский город невозможный...
Чернел, шуршал и таял снег.
Тебе открылся дух тревожный,
Щемящий душу, зыбкий свет
Страны моей.
Московский вечер,
Твое распахнуто окно.
Ты думал — позабыл навечно,
Но вот же, вспомнилось оно!
И свет его в тебе остался.
«Держись, душой не обмирай, —
Случайный гость сказать пытался. —
Тебе откроется мой край
Однажды, вдруг!..»
Как голос мамы,
Меня окликнул твой рассказ
О том, как ты двойные рамы
Рванул в апреле как-то раз.



Анна ФУНИКОВА-ДЖАНДИЕРИ

МАЛЬЧИКИ В ШИНЕЛЯХ

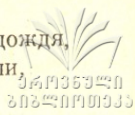
Взыграла в небе помертвевшем
Набатов давняя гроза...
Глядят со снимков пожелтевших
Военной юности глаза.
Взмыл обелиском пламень белый,
Но черный смерч ударил в грудь —

В бессмертье мальчики в шинелях
Дорогой долгою идут.
Глядите, вот они — солдаты,
Их лица трудно не узнать:
Тем, кто помладше, — восемнадцать,
Тем, кто постарше, — двадцать пять,
О память, призрачною силой
Останови в пути солдат!
Сминая травы, на могилу,
Заголосив, упала мать.
В степях весенних — запах мяты,
Ковыль да ирис молодой...
О, кто бы, юные солдаты,
Вас окропил живой водой?!
Года бесстрастные чеканят
Морщины скорби матерей,
И оттого душе не сладить
Со странной мукою своей:
Дыханье тех, кто вечно молод,
Грудь обжигает, леденя,
Как самого Бессмертья холод
и пламя Вечного огня.

МАЙ В БЕРЛИНЕ

Отступая, фашисты страшили Германию нами:
Мол, солдаты России придут и сожгут все дотла!
Но когда заплескалось над рейхом пунцовое знамя,
В тишине на Берлин опустилась вечерняя мгла.
Ночь прошла... Поутру, проезжая по улицам майским,
Маршал Жуков видал, как с немецким мальчонкой играл
Наш боец молодой. Улыбался мальчишка вихрастый,
А боец говорил: «Я недавно жену потерял,
И сынишку, и дочь... Вы отдайте мне, люди, мальчишку, —
У мальчика расстреляли эсэсовцы мать и отца».
«Глянь, вихрастый похож на тебя, как родимый сынишка!»
Но улыбка уже не светилась в глазах у бойца.
Лишь вздохнул тяжело... А мальчишку к груди прижимала
Поседевшая женщина, слезы текли по лицу:
«Внука выращу я. Вдов осталось в России немало,
Возвратишься, жена и сынишка найдутся бойцу!»
Улыбнулся солдат, угостил малыша карамелью...

Майский день был хорош, но весенние струи дождя,
Как солдатские слезы, на каменный город летели,
И блестела на небе умытая ими звезда...



Борис ВИКТОРОВ

НИКО ПИРОСМАНИ

АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА

И каждый раз — при солнце и луне
нам виделась рассветная гора
и дерево с ветвями в вышине,
и женщина, и конь, и детвора,
и мельница, и черные волны
перед прозрачной арочной арбой,
и в небо устремленные стволы,
и женщины, и птицы над горой,
и детвора, и человек в муке,
стоящий у распахнутых дверей,
ручей и черепицы вдалеке,
и птицы, и собрание людей,
и за горой селение, где нам
свиданье предстоит! — и так легко,
о Грузия, почти по небесам
идти, идти и помнить о Нико!..

ПИВНАЯ «ЗАКАТАЛА»

Тарантас, подвода и арба...
Что же нам дорога загадала
и куда направила судьба? —
На пути пивная «Закатала».
Солнце ниже дерева. Луна
выше гор, серебряного цвета.
И при двух светилах холодна
белая река — седая Лета.

Отдохнем сегодня от забот,
чтобы не обиделись случайно
дерево, калитка и забор,
полные значения и тайны.

Окна настезь, двери отворим —
пусть поют и спорят полукругом
те, кто называл тебя твоим
братом и помощником, и другом,
пусть поют и спорят, а потом
говорят соседям: «Пил он с нами!» —
на клеенке, залитой вином,
ты их всех запомнишь. Пиросмани!
Будем песни петь, не торопясь
будем пить вино, пока у входа
медленно грохочет тарантас,
ждет арба и катится подвода!..

ДОМ В ЛЕСУ

Дом одинок... И стая птиц над ним.
И ты, художник, понят и любим —
не этим, так другим. Лишь не собой.
А дом в лесу пустынен, как собор.
И говорит непризнанный мой друг:
«Все кажется — условный слышу стук,
и в слове «одинок», когда пишу,
мне слышится «Нико» — и не дышу,
и вижу лес (вернее, дикий сад,
где гроздья виноградные висят),
и вижу в том лесу двух человек:
охотник слева, справа — дровосек;
и пусть отсюда не видать их лиц,
я знаю: срубят лес, погубят птиц,
и остаюсь навечно в том доме,
и дверь не открываю никому...
А птица кружит, торкаясь в стекло,
и я, как часть единого — всего,
припав к стволу, мольберту иль плечу,
смеюсь — как плачу, плачу — как лечу!..»

КУТЕЖ ПЯТИ КНЯЗЕЙ



Пять князей — беспечных,
безымянных,
вечно трезвых, вечно
полупьяных,
пять мужей — негусто,
но счастливо
наделенных чувством
перспективы!
Вижу их на фоне
бледноватом,
словно на ладони
небогатой, —
может, пропивающих наследство,
может, так... Но, судя по размаху,
этот пир возможен лишь на средства
щедрого от сердца Пиросмани!

РЫБАК СРЕДИ СКАЛ

«Ответь, Нико, ведь были и враги?..»
«Но разошлись, как по воде круги...»
Ты их не слышал и не замечал,
ловил форель и думал, и мечтал.
И вот опять — торопятся, спешат.
А ты спиною к дереву прижат...
С транзисторами плоскими в руках
о чем поют — на рыбьих языках? —
ты их не слышишь... Дерево и дождь...
Как ни старайся — небо от подошв,
луну от солнца, руки от лица
ты отодрать не сможешь до конца!..

●

Боль обретала смысл. Сводило скулы.
И все, что порознь мучило, опять
из воздуха — из музыки — из гула



слагалось в песнь. Он мог ее понять.
...И две тропы меж зарослей рогоза
взлетали вверх, где дикий абрикос
коробился листвою, как рогожа.
И осень осыпалась под откос.
Он огибал холмы, сбегал в низины,
он видел, как вставало на пути
из воздуха — из дерева — из глины
селение. Он мог в него войти
и ощутить хотя бы на мгновенье,
как осязаем звук и уязвим,
а в воздухе — и в музыке — и в пенье
больь разлита. И выстрадана им.

Москва



Сергей БИРЮКОВ

У ПОДНОЖИЯ МТАЦМИНДЫ

Мтацминда — горькая гора,
где бьет поэзия из праха
и нет ни жалобы, ни страха.
Цветет блаженная пора,
На свете, где печаль горит
большими красными
цветами,
одна поэзия дарит
нам то, что назовете сами.
Без перевода входит в нас
Галактиона дух мятежный.
И превращается в Парнас

зеленый город или снежный.
Там кто-то бродит
с фонарем,
петляет в паутине мрака,
слепит в неведенье своем.
И снова назревает драка.
Но этим он по горло сыт—
всем, что свершается
наружно,
пока гора святая спит
и кашляет душа недужно.



...Подняли ⁹⁴¹⁹³⁵⁹²³⁰ шлагбаум,

и мы переехали из Грузии в Грузию. Стало так тихо, что мы остановились. Та же Кура была слева. Она была не та же, как и мы. Она была — выше. Нам еще предстояло привыкнуть к себе. С некоторой глухотой, разминая ноги... Казалось, здесь живут другие люди, не мы. Здесь никто не жил, но как бы и нас — не было. Никого не было. И небо, и зелень стали другого цвета, хотя не могли они быть другого. Другого света они стали. Такой остановленный свет бывает только осенью, когда пробуксовывают мгновения и ты вдруг чувствуешь, оказавшись впервые, что уже бывал в таком времени и пространстве, именно в этом, в котором ни разу до того не был. Не был, но бывал. Ощущение того света.

До осени было далеко посреди июля. Тот свет был ближе.

Книга Андрея Битова «Грузинский альбом» в нынешнем году готовится к выходу в издательстве «Мерани». Предлагаем читателю главы из этой книги.

Андрей БИТОВ

ГРУЗИНСКИЙ АЛЬБОМ

И вчерашний день, и сегодняшнее утро оказались куда более прошлыми, чем были. И не нашедший своего лица кемпинг с потерявшими свое лицо туристами и любезность боржомских властей, с отдаленной лаской взглянувших на нас, как на отрезанный ломоть, и непостижимая протяженность ожидания штампа на командировке в приемной, неправдоподобно быстро оборвавшаяся, и те же мы, но уже с бумажкой, но уже с печатью, чуть смущенные ошибками в наших отчетах... и уже чуть-чуть не мы, в последний момент выскакивающие из машины, чтобы купить тапочки в «Спорттоварах» («там» их уже не купишь...)... и вот, вдруг, уже — не мы...

...из реки, которая там, вчера, называлась Курой, из реки, которая как бы из Куры лишь вытекала, чтобы течь уже без имени, в безымянных берегах под безымянным небом, вылезли наши дети со смытыми, растерянными лицами, белесо моргая, словно снова родившиеся, нам и себе удивленные, словно крещенные, уже не безымянные, нареченные Леван и Анна... Кажется, мы ничего не сказали друг другу. Кажется, удержались.

Странно было увидеть собственный след на этом берегу; отнюдь не возмутительно, но дико глядел отпечаток протектора на черном песке. Отдаленный рокот одинокого грузовика с оставленного нами шоссе ничего не разрушал. Мы были так же посторонни, как белая нить самолета в небе. Другая планета. Пришельцы. Скитальцы. Не странно ли, что «скит» и «скиталец» — однокоренные слова?

Новую модель не изобретешь. Кое-что изобрел первобытный человек: огниво, карман, колесо, простыню, сундук... Современный раздул лишь эти формы: зажигалка, «дипломат», «Жигули»... раскрыл простыню, разнообразил сундук дверцами да оконцами, да в сундуке же меж домами и этажами и разъезжает. Поразили меня в Тбилиси эти трубы, к которым прицепляют «Жигули», чтобы не угнали... Как остроумно и находчиво... Но это же просто коновязь! Память о конях — одно поколение. Принято, что человек, по природе, не изменился, а изменились внешние формы. Боюсь, что внешние-то — как раз и не изменились; не такое уж абстрактное требуется мышление, чтобы различить за различ-

ными насадками все ту же первобытную палку... Не так уж трудно на старинной доске житий и страстей при входе в чистилище разглядеть картинки современной таможни. Скорее все-таки изменился человек, до конца уверовав в прижизненность собственного существования, то есть как раз абстрактное-то мышление и утратив.

Сказка и миф куда менее фантастичны, чем реальность. Они — здравы. Легко не верить, что вас встретит бог с бородой, но ведь вполне возможно, что — апостол с ключами... В символы веры поверить проще, чем в ее реалии. Скажем, если есть свет этот, как не быть тогда тому? Школьник знает, что магнит не разрубишь пополам, чтобы в одном был лишь плюс, а в другом лишь минус. Это только для нас тот и этот разновременны (тот — потом, после...), а они — одновременны, тот и этот свет, они никогда не существовали порознь, потому что лишь вместе они — жизнь. У жизни, как и у луны, как и у медали, не может быть лишь одной стороны, жизнь не односторонняя.

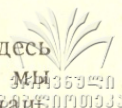
Как, однако, там? Не те же ли там проблемы? Перенаселение, Мальтус, экология? Если, по Данте, в чистилище еще надо попасть и даже ад — для души еще своего рода карьера, и толпа топчется у Стикса, недопущенная ни туда, ни сюда (все люди, не исполнившие своего назначения...), то какова же толпа эта на наш четырехмиллиардный мир? Избранным не пройти к перевозу... Гениально прозрел современный бард: «И огромный этап, тысяч пять, на коленях сидел...»

У одной парикмахерши на днях умерла мать. Она очень плакала по маме. И снится ей мама. «Только не плачь, прошу, — говорит мама, — мне и так очень тяжело». «Как — тяжело?» — естественно, интересуется дочь. «Здесь очень сурово». «Как сурово? — интересуется дочь. — Может, тебе чего туда послать?» — имея в виду теплые вещи и продукты. «Ничего не надо. Здесь все есть. Только очень сурово».

Беседа воспроизведена дословно. Что поймет современный человек под словом «сурово» здесь и что поймет он — там? Не нравственная ли норма человека сурова человеку современному?

Как, однако, там?

А вот так. Отчасти вот так, как здесь, где в Грузии оказалась Грузия же, где та же река и те же горы по-



теряли имена как принадлежность нам. Нам здесь принадлежал лишь арбуз, привезенный с собою, — его остужали в реке и упустили. Теперь и он, не найдя, уплывал от нас, назад, домой — он от нас сбежал. Нам принадлежал укус слепня, слепо обозначающего, что что-то, не знаем что, или кого-то, не знаем кого, мы на том свете, ставшем для нас этим, раздражали.

Мы ехали дальше, но это уже мало что меняло. Мир за границей, однажды нами пересеченной, был ровен и светел: однороден, односоставен. Менялись очертания скал, породы роц, цветы полян, и — ничего не менялось. словно один и тот же мир поворачивали с разных сторон перед нашими глазами, а не мы на машине ввинчивались в новый серпантин. Воля наша была условна. Отнюдь не сами меняли мы окружающее пространство. Оно подсовывалось, отодвигалось, поворачивалось к нам и от нас — мы стояли. Не было ни воли, ни произвола. Здесь было сурово.

Не так сурово, а так сурово. Здесь почему-то вставал вопрос, снятый человеческим общежитием, где ты всегда — по отношению к другим, вопрос: кто ты такой? Кто ты такой, что сюда пришел?

Куда — сюда? Здесь было, как там. Мы въезжали, под нас подкатывало, мы приближались, на нас надвигалось... И вот мы обнаружили, что стоим и дальше, по-видимому, не едем. Что это?

Родина Руставели.

Не стану утверждать, что я повторял знакомые мне с детства строки. Есть особая убедительность в имени поэта, и не читанного тобою. Ухо услышит звук, соответствующий чьему-то имени, сто раз, и в нем не будет имени. Но стоит раз произнести его человеку знающему, что оно значит, знающему на высоте собственной любви, как вы и услышите и поверите. Слово «Руставели» слетает с уст грузина именно таким убедительным образом. Вы уже не сомневаетесь. Вам необязательно проверять.

Так вот где он жил!.. То ли он жил в раю, то ли вы в аду, то ли место таково, что могло послужить столь высокому рождению, то ли поэт таков, что возвысил его до своего зренья и природа потом вынуждена была соответствовать уровню своего запечатления — стала такой? Нет, однако, сомнения, в силу погра-

нических или каких других обстоятельств, что природа здесь осталась в том состоянии, в каком была при нем. Его — нет. Он давно ушел в мир еще более, чем этот. Мир замер, провожая его взглядом, да так и остался на месте, на этом месте.

«Мир — лишь миг», — сказала друг, возможно, цитируя. Миг этот проскочил между Руставели и нами — мы стояли с ним в одном мире. Миг этот — простирался. «Он лишь взмах ресниц мгновенный...» Мы стояли, боясь сморгнуть.

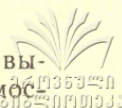
Соринкой в глазу застряла турбаза, остальное было так же, лишь на его взмах ресниц позже. И отворачиваясь от турбазы, видели мы.

И не сразу скажешь, в чем тут дело. Красивое, конечно, место. Но — не в этом.

Несколькими гигантскими отвесами, очень музыкально восставшими в пространстве, противоположный берег уходит в небо, подавляя окрестность. Он — желт. А сейчас, в лучах закатных — золотист и розов. В нем чернеют дырки, отсюда почти точки. Так и у нас на речках бывает: обрывистый берег испещрен гнездами ласточек, они стремительно ныряют в них, с криком вылетают, чудом не сталкиваясь, стригут пространство на многие острые треугольники. Это — жизнь. Здесь нет ласточек. Если бы они были, то это были бы уже орлы, орлы бы показались отсюда меньше ласточек. Масштаб — вот что гипнотизировало. Вы не знали, какое это, — то, что у вас перед глазами. То есть масштаба не было.

И оно молчало. И вы молчали. Молчали не от потрясения, восхищения или еще какого-либо подобного словесного чувства, которое потом словами или возгласами разряжается, не оттого молчали, что как бы на время утратили дар речи, потрясенные. Молчали оттого, что слов здесь и не было. Или их здесь однажды не стало...

Когда-то здесь был монастырь. То есть эти дырки — входы в пещеры, в кельи. Это вам объяснят, когда наутро, после зарядки и манной каши, поведут через реку на экскурсию. Он был основоположен, и он быстро рос, превращаясь в пещерный город невиданного в истории размера. Храмы и хозяйственные службы, кельи обширные и с удобствами, и схимнические, не-



доступные, все выше и выше, лестницы и переходы, выдолбленные в скале и висячие, террасы, галереи и мосты... Духовный оплот и сердце Грузии в упоительное для Грузии время, связанное с именами Тамар и Шота.

Но и века не прошло. «Мир — лишь взмах ресниц мгновенный». Землетрясение, подобной силы не отмеченное ни до ни после, до наших дней, обрушило скалу в ущелье, и с ней — город. Таким образом, то, что мы видим теперь, есть так называемый в черчении вертикальный срез — трагическая наглядность! «Далее посмотрите на эту фреску, — убеждал романтический экскурсовод в джинсах, особенно подчеркивающих узость бедер, в белой свободной рубашке, особенно подчеркивающей ширину плеч, с открытым воротом, особенно открывающим сильную шею, так и не поглядывая на девушку, особенно внимательную и выдвинувшуюся вперед, но тоже на него не поглядывающую... — На этой фреске вы видите уши животного, — говорил экскурсовод, вообще-то охотник, воин, только сейчас, временно, экскурсовод, — животное это, по ушам, конь. Но художник не стал бы рисовать одни уши коня, ясно, что он рисовал всадника на коне. А это значит, что **остальная часть фрески упала в ущелье...**»

Вопрос «за что?», который, хотя бы однажды, задает себе в истории каждый народ, звучит в этом ущелье. Это то самое «за что?», которое звучит в устах и русских, когда они пытаются понять свой сегодняшний день в непрерывной связи с днем рождения, когда одни вспоминают Новгородскую республику, другие татар, третьи Петра... Все они, предварительно перессорившись в точке отсчета, забывают в споре, что исходят из общего для всех недоумения. «Художник не стал бы рисовать одни уши...» — снова услышал я от экскурсовода, не менее сурового и романтического, ведшего следующую группу.

Был ли то знак свыше? А как еще его было тогда понять, когда недоступная нашему разуму вера лепила эти гнезда, создавая духовную крепость нации? Катастрофа и есть катастрофа. Что погибло, погибло, а остальные ушли. Надо думать, то было и так неболтливое время: в молчаливом краю, монахи, пещеры,

отделенность от мира, трижды желающая отделиться: в самостоятельности, в недостижимости и в молитве. Мечом, не иначе как карающим, гладко, как бритвой, был обрублен этот мир. Молчание, куда более глубокое, чем без человека, молчание после катастрофы, воцарилось здесь. Его-то мы и видим, а не пейзаж. Оно и в нас молчит. Не описать его. Молчание не расскажешь, как музыку не нарисуешь, а рисунок не напишешь, сколько бы ни упражнялись искусствоведы, ощущая подобные переходы и взаимообогащения... И я не стану.

Только молчание родит поэта. И хотя биография Шота столь неведома, что дает возможности самых необоснованных заключений... как убедительно именно это место, и эта трагедия для рождения в одном из родившихся здесь людей поэта Руставели. Про границу трудно понять, что она от чего ограждает: внутренний мир от внешнего или внешний от внутреннего. Вопрос, с какой мы сами стороны... Но — обрыв. Крепость, которую мы отстаиваем, — родина.

«Видишь, брат мой, что со мною. Как же боль свою укрою?

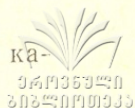
Жизнь мне, время. Но судьбою принужден я
длить свой час.

Жизни нет, а жизнь все длится. Смерть прийти ко мне боится».

Смолк. И слез поток струится. Сколь печален тот рассказ!

Вы смотрите вдаль, через реку, на эту мощь скалы, на эти человечесьи соты... Как черви, с необсуждаемым трудолюбием и упорством, без механизмов и взрывчатки, почти руками, но с необыкновенной скоростью нарыли их люди. Как черви — но и как птицы! Недаром так высоко и стремясь все выше. Недаром ассоциация с ласточками — первое, что приходит здесь в голову. И черви, и птицы. Люди. Вы молчите. Смотрите. Не видите и не слышите. Не можете оторваться. Не знаете, что тут сказать. Не только молчание, но и — время. Тут остановилось время. Оно — то же. То же, что и тогда, когда сюда вскарабкались первые схимники. То же, когда отсюда ушли по-

следние. То же время, в какое заговорил из этой ка-
менной невыразимости немоты Руставели.



Мир прискорбный. Рок бессонный. Что ты
крутишься, взмятенный?
Чем ты вечно огорченный? Кто уверует в тебя
Так, как я...

Все в биографии Руставели лишь предполагается,
и утверждается в этих предположениях всегда автор
гипотезы, а не факт. Все предположительно о Руста-
вели, кроме самого Руставели. Музей Руставели —
под открытым небом, в нем нет экспонатов, кроме его
строк. Но ничто не нарушает их здесь звучания.

Все ж нас видит бог, любя.

ДОМ ПОЭТА

У меня есть воспоминание, которому я не верю. То
есть сомнения нет, но — не верю. Кончилась война,
мне было девять лет, мама повезла мои гланды в Ял-
ту. Я в первый раз летел на самолете. Чему тут ве-
рить — что я лечу на самолете? что кончилась вой-
на? она была всегда, до нее ничего у меня не было...
что мне было когда-то девять лет? что сегодня я мо-
гу вспоминать события тридцати-сорокалетней давно-
сти? Но еще менее вероятно следующее, не явившееся
в те мои девять лет никаким фактом ни осмысления,
ни переживания.

Калитку нам отворила старушка и пропустила нас
в садик. Она подала маме руку, но, как я понял, не бы-
ла маминой знакомой. Мама объяснила, что мы из Ле-
нинграда и очень бы хотели осмотреть... Строгая ста-
рушка, с долей сомнения измерив меня, без слов про-
пустила нас и прикрыла калитку. В домике было по-
хоже на нашу квартиру — ничто меня не поразило. К
старенькому автору «Каштанки» я еще не испытывал
ни любви, ни неприязни.

Потом мы пили на кухоньке в пристроечке чай,
совсем как дома, даже буфет был в точности такой.

Мама рассказала про Петербургскую гимназию и Ленинградскую консерваторию, старушка — про своего брата, но не Антон Палыча, а другого... Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выползшую на дорожку сада, когда мы, благодарные, прощались.

(Было это в тот год, когда со смерти Чехова прошло столько же лет, сколько он прожил, столько лет, сколько было тогда маме, и столько, сколько мне сейчас. В задаче спрашивается...).

Мама меня возила в отпуска за собой, и я много посетил еще домиков, кроме чеховского. Был я и в Грузии, в доме Казбеги, и в доме Важа Пшавела, и еще в чьем-то, в Гори... Запомнил в каждом — железную кровать и узкогорлый позеленевший кувшин в углу.

Уже тридцатилетним человеком начал я попадать в эти домики по второму разу. Меня — водили. В домик Чехова попал с известным кинорежиссером, которому мы особенно обязаны экранизациями чеховских вещей («Дама с собачкой» была уже снята, а замечательная «Дуэль» еще нет...). Естественно, нам распахнули все двери. Отцепляли для нас бархатный барьерчик, отгораживавший экспонаты от посетителей, подпускали вплотную. На тумбочке, рядом с чеховской кроватью, лежала французская книжка по пасьянсам, на отрывном календаре навсегда осталась дата — 27 мая... Я ничего не узнавал из того, что уже видел. «Уже старушки нет...» Директор сетовал на миллион посетителей в год, на план и хозрасчет, и мы разделяли: деревянные лесенки, рассчитанные на поступь немногочисленной семьи, не были рассчитаны на всеобщий духовный водопад.

...Я много посетил с мамой домиков — я стараюсь их больше не посещать. Что-нибудь да порвется каждый раз в душе: то ли боль за поэта, то ли за себя. Чего-нибудь обязательно не простишь времени или, опять же, все тому же себе. Нелегко это — посещать... Ненавидеть экскурсантов, отделять их мысленно от себя и убеждаться, что ничем-то ты не лучше их, если не хуже.

Да и посетить их бывает почему-то не так просто; специально — не соберешься, а когда выпадает естест-

венный, как бы сам по себе, случай, который тут же захочется истолковать как знак или судьбу, то и тут. То ли выходной, то ли еще хуже.

Я возвращался на машине с юга и втянулся уже в среднюю полосу, которую и стремился поскорее преодолеть, утомленный долгой гонкой и однообразием представавшего предо мной вида, как вдруг... Что это? Так обрадовался взор!.. Пейзаж поражал культурой и свободой. Разгадка последовала: на указателе было написано «Спасское-Лутовиново». Сама судьба распорядилась — когда бы я еще так счастливо туда попал?.. Но та же судьба распорядилась и мною: мне нечем было заплатить и скромную входную плату: я не обнаружил бумажника — ни денег, ни документов! — видно, лишился его на последней заправочной, от которой отъехал почти на пятьсот километров... Не навестил я Ивана Сергеевича! А может, и кстати. С чего бы вдруг? Может, я бы еще больше расстроился, чем от бумажника...

Из всех функций поэта для своего народа, из всех заслуг не отмечается и еще одна — бесспорная: природоохранная. Сколько истории, сколько памятников культуры сохранили они нам одним своим именем... Но и — сколько пейзажей! Неохраненные их священным именем, рассосались бы и эти: вырубил бы рощу, растащили усадьбу, будь она просто так. Ничья. Право собственности остается за поэтом, оно священо; оно освящено, впрочем, нашим правом собственности НА поэта. Оттого до сих пор можем мы не только вычитывать в прекрасных их произведениях, но отчасти и собственными глазами видеть, как жил человек и что его тогда окружало, когда он еще был. Чернильница, беседка, аллея... тросточка в углу, дуб на берегу, единственно столетний на всю округу... «Вновь я посетил...», «Я помню чудное мгновенье...» и «Нет, весь я не умру...». В наш век природа — такое же камерное, культурное пространство, как и стихи о ней. И если вдруг, проезжая по российскому шоссе, на смену бесконечным выродившимся, беспородным рошицам и порубкам, спдывающимся в общую просеку, на смену вываливающимся прямо на «проезжую часть» обветшавшим избам и заборам, вдруг изящно изогнется дорога, входя в широкогрудый, чистый лес, и даже рельеф облагородится,

откуда-то возьмутся живописные холмы и поляны, блеснет чистая вода, природа задышит культурой (ибо и дикая природа, без вмешательства, приходит к своей культуре...), даже до того, как вы увидите уже и впрямь культурный, насажденный и не вырубленный впоследствии парк или сад, прежде чем мелькнет чистая церквушка с необломанным или непогнутым крестом, прежде чем увидите на скромном и самом удачном месте уютный особнячок... — можете быть уверены, что вы приближаетесь к дому поэта, покопайтесь в своей эрудиции, какого... Поэт — последний крестьянин. Хозяйство его не только цельно, но и цело.

Может, не надо туда ездить на автомобиле?.. Нам предстояло путешествие — мой друг хотел показать город, где он родился. По дороге могли бы и заехать, куда захотим. Свернуть. Но — куда? Скажем, в Гори. Или еще раньше — в Сагурамо. В Гори или в Сагурамо? Не хотел я в музеи—куда милее мне был в тот момент простор. И в Гори я был... Когда? Неужто тридцать лет назад!.. Ужаснуло меня. Но все хотели. Все хотели того, что я хочу. То есть все хотели, чтобы я хотел. Тогда уж в Сагурамо. Там я хотя бы не знал, что. Туда я чуть меньше не хотел. Мы свернули с трассы с непонятным облегчением, которое рождает поворот: ехать совсем не туда, куда собрался...

Что я там мог не видеть? Машина заскребла по щебенке, круто в гору. Средиземноморская сухость камней и кустарников весело цепляла глаз. И вот любопытно: всегда-то мы себе что-то представляем, собираясь увидеть нечто в первый раз! Какой-то расплывчатый монстр из уже виденного и того, чего никогда не увидим, заслоняет взор: там в тундре прыгает кенгуру, и петербургский дождик идет на Монмартре... Растоптанный чеховский домик вставал перед моими глазами на этом подъеме, санаторные толпы восходили по рыдающим шатким его лесенкам, светлая память незапомненной мною Марии Павловны печально витала над цементной гробницей, в которой был захоронен живой при ее жизни дом. Но дом этот перед моими глазами был и чеховский и не совсем чеховский — лесенка, по которой я взбирался в памяти, завела меня совсем на другой этаж дровяной дачки в Сестрорецке, и не Мария Павловна, а все

еще живая Вера Владимировна пропускала меня по той крутой лесенке, наверх: «Осторожнее! Видите плакатик на притолоке? Его еще сам Михаил Михайлович написал. Чтобы гости не стукались...» «Береги лоб» — тщательно на тщательной же фанерочке начертано было рукой мастера. Покорный его воле, невольно склонился я, входя... Так, рассказывают, устроен вход в гробницу Наполеона, что каждый поневоле склонит голову. Но какая разница была в этих двух величиях и величинах!

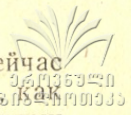
Это был самый живой писательский музей из всех мною посещенных. Живой, как последний вздох, как осенняя паутина, как комната, из которой вышли, но еще слышны шаги. Он был жив и легок, как воздушная поступь старушки, как серебряный пух, нимбом светившийся над ее головой, как непрерывный девичий ее щебет, несмысленному мне пояснявший... Я сел за его стол. «Вот эти две колобашечки он тоже сам сделал, чтобы ставни не хлопали... — И она вставила колобашечку между окладом и рамой, распахнув окно. — Очень удобно». За окном был нехитрый садик, где дрова поддерживали заборчик; с косым сортирчиком, опиравшимся плечом на ветви вросшей в него бузины... Я, робея и наглея, поднял со стола очки, сложившие лапки, как кузнечик: две пыльных ватки были прилажены у переносицы... Их тоже «сделал» сам Михаил Михалыч, как мне пояснили; очки — натирали! Но натирали они живую переносицу! Ватка касалась! Касалась носа! Нет, я не мог больше... Продолжатель Гоголя и наследник Чехова!.. Я крутил в руках бумажку, этакий бланк на пол-листе, размером в командировку, предписание или повестку, за подписью инспектора по учету кадров. В бумажке извещалось, что решением... ему (Михаилу Михайловичу...) присвоена? присуждена? установлена (вот!) персональная пенсия размером в наши сто двадцать рублей. Вы не представляете, как он обрадовался! — поясняла Вера Владимировна. — «Теперь я хоть уверен, сказал он, что ты не умрешь с голоду. Тебе положена после меня половина...» Она его уговаривала не ехать (он плохо себя чувствовал): успеешь еще оформить-то, дело-то уже решенное. Он страдал нервным заболеванием — не мог есть... разве, как Гоголь, что вы го-



ворите! я не знала... он сказал: «Ты меня знаешь, я не успокоюсь, пока все это...» — и поехал, как я ни что варивала, вернулся совсем плохой... То есть он ее не успел получить, первую свою пенсию — тень Акакия Акакиевича накрыла полой своей шубы великого сатирика... А старушка так же звонко (у нее замечательно отсутствовала в речи пауза) рассказывала мне, как они познакомились, какой он был красивый, как он вернулся с фронта, еще в шинели, и носил башлык, а они возвращались из гимназии, и подруга ей говорит: «Смотри, какой башлык!» Мы так «башлыком» его и звали; потом он однажды к нам подошел». Именно гимназисткой была и оставалась замечательная старушка, все еще более гордясь своим личным знакомством с пресловутой Чарской (она ей написала читательское письмо, и вы можете себе представить! ответила!..), чем тем, что стала женой великого писателя...

Так вот же ведь вот! Она не за писателя и выходила, а за красивого двадцатилетнего офицера, бледного, отравленного немецкими газами, в башлыке, с георгиевским крестом и темляком на сабле!.. Серебряный ее голосок витал и витал, и была она все еще той самой, в которую он и влюбился, и не видел я более трепетной и живой памяти о великом писателе, чем такая!.. Влюбленный в ее колокольчик, расшаркиваясь и не находя внятных слов, покидал я этот никогда не открытый музей, живой ее жизнью настолько, что и Михал Михалыч оставался жив: вышел в садик или на терраску, пока мы болтали, не утомляя его... И, спускаясь по той же лесенке, расшибал я-таки лоб, искры сыпались, и смех ее рассыпался: что ж это вы, ведь сам Михал Михалыч предупреждал меня об этом... Растроганный, покидал я, бредя вдоль глухого зеленого забора

соседней ведомственной дачи, за которым не знаю, кто бы еще мог жить... И вдоль того же забора, так долго отгораживающего взор от дивных парковых берез, где всюду знак «остановка запрещена», а японцы, не понимая, просят остановиться, им хочется фотографировать березы, им хочется в рашн-лес, они не хотят в музей, а мы им ласково более, чем они, японски, улыбаемся и провозим все мимо и мимо, ус-



покаивая, как малых детей, что уже скоро и сейчас приедем... И впрямь, меж двух сузившихся заборов скот в загон, втягивается наш делегационный кортеж и попадаем мы опять, куда я никак не ждал —

великий открывается простор и взор и вздох в этой прославленной усадьбе, где природа уже исполнена человеком в той же мере, как музыка, в том же, впрочем, камзолном веке. Нет, усадьба принадлежала не поэту, а — вельможе, но поэты здесь бывали и одна из их возлюбленных погребена вот под этим памятником...

В этом дворце как-то получалось, что недоступное разуму богатство не подавляло роскошью, а поражало жизнью, интимностью пространства, точным ощущением живого человека, здесь ходившего и дворец собою населявшего. С подавленным ностальгическим вздохом расслышал я в соседнем зале шарканье шитых туфлей моего прапрапрадедушки, которого, признаться, я не по праву себе приписывал... Не знаю, с чего это меня так перекосило именно в Архангельском: от японцев, которые так много и так вежливо улыбались, что не хотелось верить, что они способны почувствовать хоть что-нибудь из того, что обязан почувствовать здесь каждый русский человек, а может, злясь на их недоступную фототехнику, которой они непрерывно вспыхивали и стрекотали, запечатлеваясь, а может... Только с чего я взял, что я испепелюсь от зрелища их императорского дворца или сумею испытать их чувства от японского садика или вазы, которых здесь, в нашем дворце, было предостаточно и которые они (с каким чувством...) трогали своим японским пальцем... с чего это я взял, что способен? потому ли, что собрался к ним и, по этой именно причине, что сам буду вскоре их гостем, сопровождал своих японских гостей по месту, которое, кстати сказать, и сам-то впервые в жизни видел, как впервые видели его и они... с чего это я взял, что именно я — настоящий русский, когда особенно возмутился живому хихиканью за спиной, а обернувшись, застал своего кинорежиссера (не менее меня русского, из северной деревни родом...), в ту же Японию со мною намеревавшегося, то есть в Архангельском оказавшегося никак не по менее святой причине... я застал их, японца и русского, любозна-

тельно удовлетворявших свои филологические потребности в радостной попытке нахождения общего языка: они тыкали в мраморные частицы тела амурчика, японец называл их по-русски, а наш режиссер, по-видимому, по-японски; они повторяли эти, столь непохожие по звучанию на родные, слова и смеялись с истинно детской веселостью, окончательно забыв про пенаты, про памятник культуры и т. п. Я тогда чудовищно возмутился,

сейчас думаю: славные ребята, по существу... лучше, чем воевать... славные ребята! Но вот, что же я так зарыдал ни с того ни с сего тогда, на выходе?.. Я случайно почти попал, несколько раз не попадал туда: то с дочкой, то с грузинским другом, то с иностранцем... всегда он бывал для нас закрыт, этот миленький домик, особнячок, даже особнячок, выходящий своим красным узким бочком на Садово-Кудринскую... то перерыв, то выходной день, то санитарный... а тут иду себе и не собираюсь, и час у меня нечем занять (это в Москве-то!), а домик-то и открыт! Я раздумывал в него войти — слишком неожиданно, решил все-таки не идти даже; Чехов такое чувство вызывает, что как-то то ли себя неловко, то ли людей стыдно, а теперь уже — перед ним самим, этот стыд воспевшим и воплотившим «с такою чудной силой»... Не пойду, думаю, а уже — вошел, а уже поднимаюсь, гордо не присоединяясь к экскурсии и свое хоть и скромное инкогнито не приоткрывая... мне ли объяснять про Чехова!.. фланирую, с миной скромности и величия, по прекрасно надо сказать, спланированной экспозиции, нравится мне, и симпатизирую Антон Павловичу во всю меру своего знания и понимания, проникаюсь, так сказать.

и в самом конце, вдруг на подушечке, под стеклом, в крошечной, как пишущая машинка, витринке, вдруг, на подушечке, просто так, безо всякого пояснения — на бархатной... под незалапанным стеклышком... пенсне и визитная карточка «Доктор Чехов»... постоял я, постоял над ними, оцепенел тупо... а когда встрепенулся, очнувшись (за спиной уже стояла старушка — подозревала...), то и решил, что ничего больше смотреть нельзя, а надо уйти... Я-то решил, но так и оказалось, что другого — ничего и нет: на выход. Вот и выхожу я, про себя похваливая такт и вкус устрои-



005020
0020010033

телей, на улицу... и улыбаюсь еще какое-то мгновение на внезапный уличный свет, удовлетворенной, расслабленной улыбкой, и что-то все шурюю и шурюю, никак не привыкнуть, шурюю. Садовое кольцо, щиплет, машины, машины, щиплет сильнее, сегодня! сейчас... и рыдания, без мысли, без идеи, от одного лишь этого чувства немого, начинают, как писали когда-то, «душить» меня. И я не в силах ни понять этого, ни сдержаться, ни скрыться, ни провалиться... Мне некуда деться посреди этого рычащего и дымящего бездревесного Садового, безлиственного Кудринского, знакомые вполне могут... рядом... что же это рядом-то?.. Союз писателей рядом... сорокалетний, трехлетний, стою посреди, и бессмысленные, непокорные, непьющие ни в коем случае, потому что не было этого, слезы не просто текут, а льются, откуда столько?.. и отчего? никаких во мне слов, объясняющих, и сейчас не найдется. Просто это я, сейчас, в нашем времени, на Садово-Кудринской, что в Москве, со всей своей... со всем своим... разве так можно?..

Вот как было дело. С чего бы только было им просохнуть, как им было кончиться? Не пойму. Нет, никогда я не поеду в Михайловское! Не хочу видеть дуб, вокруг которого ходил кот, и прялку Арины Родионовны — не хочу. Не хочу в недействующий храм, так замечательно отреставрированный для посещения... Приблизительно это сказал мне монах, которого подвозил я из деревни Небылое, что во Владимирской области. Едем мы, мчимся. «Инспектор!» — предупредил меня внимательный батюшка. Машина приседает со ста двадцати до шестидесяти прямо под носом засевшего в кустах гаишника, и успеваю я, тормозя, прочесть неправдоподобную свою внезапностью вывеску села Болдино. Отчего же так прыгнуло сердце? От боязни компостера в правах? от чудовищной той его осени?.. И гаишник не остановил почему-то, и я не остановился. Понял я это, лишь пересекая, как финиш, противоположную границу, прочитав слово «Болдино» в зеркале заднего вида... Нет, не мог я здесь остановиться! И я не остановился. Какими глазами смотрел я на пролетающий, улетающий от меня пейзаж... Какие проплывали, те же самые, что и над ним, облака! Знал бы я, что другое Болдино это было, дру-

гой области, однофамильное село... И пронесся я, ми-
нуя, как однофамилец самому себе. Так и гримируюсь
под Гамлета, а пора бы уже репетировать ^{Лира} И
только мы миновали пост Гаи,

только мой друг изо всех сил тормознул перед
ним, встряхнув всех нас, как поросят в мешке, как мы
и оказались там, куда ехали, — в Сагурамо мы и ока-
зались. Представления невиданного тут же распались,
чтобы все обернулось той самой стороной и условием
счастья, когда ты — не предполагал. Экскурсий никаких
не было, мы были первые и одни; не было и никакой
преувеличенной надстройки над святыней; не осталось
ни сестры, ни вдовы... Все здесь было вполне нормально,
недоразвалившись и непереобновившись, в той норме,
когда можно бы и продолжать жить, как жили... Для
нас одних выбегали навстречу дворняги, неожиданно,
для такой удаленности, породистые; от нас одних от-
вернулся в маленьком прудике черный лебедь; для нас
одних оторвали от свежей непочатой тетрадки вход-
ные билеты... Билетерша же, конечно, была не одна:
несколько женщин сидели уютным и праздным круж-
ком на музейном крыльце, оживляя его. Кто они бы-
ли? сотрудницы, родственницы, а может, и то и дру-
гое... Одна из собеседниц крутила в руках кофейную
чашечку, явно прервавшись на полуслове, другая все
еще не потеряла той заинтересованности к своей судь-
бе, которая бывает на лице каждого, кому гадают, и
еще чашечка, перевернутая, ждала своей очереди на
столе билетерши... И мы прошли.

Там было тихо, чисто, по-крестьянски был как-то
не то намыт, не то неровен пол, плетеные же, деревен-
ские, лоскутные половички... Уютно было, будто мы
собирались то ли пожить здесь, то ли все-таки даль-
ше поехать, то ли нас приглашали, а хозяин ждал-ждал
и отлучился, буквально перед нашим приходом, и, как
всегда, мне здесь, приедем, неясно: хозяин? он, что,
сейчас будет или через неделю? — другая жизнь у
времени здесь... Память о великом человеке не пре-
рвала тут жизни здесь живущих. И вот еще от чего
мне стало хорошо: трепета у меня не было перед ве-
ликим Ильей; у друга, наверно, был, а я был не обя-
зан. То есть я относился к нему и с искренним, и с по-
добающим почтением, но и только. Не стояла для ме-

105940
80220101033

ня за ним судьба моего народа. И слава богу. Отдохнем и от этого. Все здесь располагало к отдыху некой генистостью в принципе, не только под деревом она бывает... Да и человек хороший. Вот то, что хозяин наш Илья — человек хороший, мне было очевидно ясно и без страстных пояснений моего друга. Быт человека не врет.

Поднявшись на бельэтаж, на лестничной площадке, в большой витрине осмотрели мы личные вещи: трость, саквояж, белый жилет — на солидного, как в прошлом говорили, статного, человека... будто он все-таки вернулся, нас догнал, а сейчас поспешил переодеться... а нас пока пропустили прямо к нему в кабинет, поспешно спрятав за спину малиновый бархатный барьерчик... Так и выглядела настигшая нас экскурсоводша, с которой любезно объяснялся мой друг, а я не понимал... так она выглядела, как дальняя, возможно, и бедная родственница, помогающая здесь по хозяйству... Илья ей нас пока поручил... Она спрята-ла за своей спиной эту малиновую анаконду с крючком на конце, и мы прошли в его кабинет, таким он и представлялся — и мужской и интеллигентный: почитали корешки на книжной полке — не так и много, но все — по делу, осмотрели незамученный непосильной работой письменный стол и вполне хорошо вытертый ковер и мутки на узеньком диванчике для внезапной дремы... Вышли на балкон: прекрасный парк спадал некруто вниз, деревья стояли просторно, так, что особенно трепетали меж стволов, по сухой приземистой травке, солнечные пятна; пятна эти вольно разгуливали по парку, предоставляя то тень, то свет так, что ни свет нигде не палил, ни тень нигде не сгушлась... И деревья все были такие породистые, как и выбежавшие нам навстречу при входе собаки. «Вот здесь, — мечтательно и ласково пояснял мне друг, — обычно ставили стол...» И взгляд его ушел за деревья, будто кого-то там вдали провожая... Или, может, кто-то уже приближается, кого мы ждем?.. «Вот так... — говорил он с мягкой расстановкой с круглым жестом. — Прямо здесь, где мы стоим, стояли Илья и Акакий...» И снова его взгляд пошел кого-то там, вдалеке, встретить.

А потом мы съели то, что у нас с собой было, там,

под балконом, в тенисто-золотистом парке; поели, за-
пили водой из источника; поиграли с Леванушкой, сы-
ном друга, в бадминтон; никто не проиграл никому...
только солнце вдруг стало торопиться к закату, и Илья
так и не вернулся. Что с ним могло случиться?..

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Памяти отца

Возвращаюсь из Тбилиси домой — попадаю в
Москву...

Возвращаюсь уже из Москвы, везу анекдотец. «Ша-
ху отрезали ногу...»

Как сядешь, так и слезешь... Если бы не вывеска,
что это ЛЕНИНГРАД, — никакой разницы. Чья-то
идеальная идея, чтобы Московский вокзал равнялся
Ленинградскому: одинаковые перроны, одинаковые за-
лы, по одинаковой клумбочке-могилке в начале и конце
пути.

Не выходя из вокзала, погружаюсь в метро: я
все еще в Москве.

Выхожу на Петроградской и... наконец-то! дома!
и все понятно. Радостно топчу землю. Причем именно
землю, потому что сначала — сквер. Это кратчайший
путь. Не могу сказать: узнаю, — знаю! И даже «ви-
жу» — не могу сказать. Именно, что — НЕ вижу, а
лишь убеждаюсь: на месте, все еще на месте...

Маршрут мой напоминает опыт Конрада Лоренца
с землеройкой: этот недоразвитый зверек проклады-
вает свой путь лишь один раз, и если в этот первый
раз ей поставить некое препятствие на пути, а потом
его убрать, то она так и будет огибать его, уже не-
существующее, до конца дней. Сорок лет назад я пе-
реходил Карповку по деревянному мостику, а лет де-
сять тому — метрах в пятидесяти построили капи-
тальный, каменный; некоторое время они еще оба стоя-
ли рядышком, и я все еще дохаживал по деревяннень-
кому: он стремительно ветшал, сквозь провалившимися
досками, поблескивая повытертыми до блеска шляп-
ками гвоздей... потом — снесли. А я и сейчас, крат-



чайшим путем, выхожу сначала к нему, убеждаюсь, что его нет, и как бы ощупью добредаю до нового, вершаю крюк. Кратчайший путь теперь другой... Значит, я выразился достаточно точно, что не вижу: чувствую я, а не вижу... чего я здесь не видел? Иду я, шурюсь, будто солнце, вдыхаю, будто и воздух-то здесь другой, чуть ли не улыбка бродит по моему... Однако, взгляни я на себя со стороны, мог бы отметить, что иду я как бы отчасти бочком, несколько одноголазо, если можно так выразиться, и под ноги не смотрю.

Иду я так, что в поле моего зрения может попасть лишь то, что было и раньше, а раньше — значит до меня. Если налево не смотреть, более или менее получается: Карповка, Ботанический сад... а там можно и налево голову повернуть — там мой дом: как стоял, так и стоит. Но Карповка теперь одета в гранит, деревья, посаженные по ее берегу после войны, выглядят почти столетними, а те, столетние, что вдоль Ботанического, давно попадали — все клонились, клонились с берега, тогда еще не гранитного, да и попадали... и решетка вокруг сада теперь другая. И под ногами, конечно, уже не плиты, и мостовая уже не булыжная — это все асфальт. Но дом мой — прежний, если слишком голову не задирать: наверху пропали скошенные окна мансарды, выпрямленные в лишний этаж... Но от моего дома — вид уже не менялся на всем моем протяжении: тот же Электротехнический с башенкой, те же часы на башенке и тот же двухсотлетний елизаветинский барак в углу Ботанического... И все это избирательное зрение дается мне без труда, без сознания, само собой — я все еще в прежнем, своем, неизменном, неизменном пространстве, и времени никакого не прошло. И все ассоциации мои такие же заученные, как путь.

Как землеройка видит препятствие на пути, потому и огибает, так и я вижу сначала все того же человека в кальсонах, свесившего ноги с крыши семиэтажного дома, грозящего карабкающимся снизу пожарникам прыгнуть вниз, если они к нему приблизятся... вон я там внизу, мне из-за спин не все видно... три часа длится эта осада... Вот сейчас, когда я миную это место, сердце мое привычно опустится, как тогда,

когда, не дождавшись, повлекся я наконец домой, опасаясь нагоняя за опоздание, и тут же за спиной слышал общий вскрик толпы и обернувшись увидел остановившееся навсегда в полете тело, бессонно-белое и как бы пустое...

А на том берегу Карповки, где больница, увижу я впереди слово «морг». Нет, на нем нет вывески... просто я всегда боялся смотреть в ту сторону и так и не знал, какое же из этих сумрачных строений «оно» (я думал о морге в среднем роде), поэтому там расположено именно слово... Наверное, поэтому я завел тогда с мамой, именно на этом повороте с Карповки на Аптекарский, один примечательный разговор... Я тогда в первый класс ходил... мама меня не поняла тогда... а я теперь, сколько бы ни проходил это место, все тот же вопрос ей задаю и опять не имею ответа: «Мам, а когда я умру, я совсем умру?» Мама спешит, нам надо успеть, отоварить карточку, ей надо успеть меня покормить и бежать на вторую службу. «Я тебя не понимаю, о чем ты?» «Ну, кем я был, когда меня не было? — спрашиваю я иначе. — Я ведь был...» И голос мой дрожит. Но мама так и не понимает, что если я был до, значит могу быть и после. С моими ужасными глазами мне надо поменьше разговаривать на морозе. Моя жизнь интересуется мать именно в этом интервале от «до» до «после». Я каждый раз не плачу, огибая этот угол.

Я на Аптекарском, Карповка остается у меня за спиной; сад справа неизменно хорош, левый бок мой слеп — фабричная стена. До дома два шага, но и на этом расстоянии — отметина: худосочный дубок, с трудом набирающий жизненных соков из-под заводской стены. Две неравноправных судьбы у деревьев: через улицу он наблюдает счастливую жизнь — там, за решеткой, в Ботаническом саду... Этому дубку спасли, однако, даже вот эту его, неудачную, жизнь. На нем было поселилась тля, и мой отец, пока он еще выходил на улицу, надолго задерживался около, собирая эту мерзость палочкой с каждого листика. Прохожие смотрели на старика удивленно — он не смущался, а если кто спросит, пояснял охотно и наставительно. До какой степени казалось мне это его занятие бессмысленным! Однако вот так, поодиночке, за



лето отец тлю победил. Ага, вот он, недомерок!.. Ремесленник 45-го года. Однако листом крепок, тлей нет. Если обернусь, увижу отца: рукой он придерживает руку, чтобы она не опускалась, когда он дотягивается до очередного листика. Вид у него просветленно-сосредоточенный. Он и меня не заметил, как я прошел, и я его не окликнул. Там он остался, в заплочном пространстве, в том же, где никогда не упадет летящий в белом полотняном пузыре, где мне не ответят про «до» и «после».

А вот и ДЕРЕВО. ДЕРЕВО значит ДОМ. Деревьев тут полно, но ДЕРЕВО здесь одно. Оно растет у самого дома, и хоть оно тоже за границей ботанического царства, но — такое же могучее и древнее, из их рода, состоящее с теми в родстве, патриарх елизаветинских огородов. Оно нависло через всю улицу, дотянулось нижней гигантской ветвью до собратьев и последним хоть листиком, но нависло туда, за решетку, к своим, в сад... Эту ветвь обломил грузовик своим негабаритным грузом. Приятно было видеть свалившийся с него контейнер. И ветвь загородила всю улицу, сама как столетнее дерево. Очень я жалел ту ветвь. Но довольно скоро, точно так же могуче и низко, нависла через улицу следующая ветвь. Памятуя об аварии, ее вовремя спилили. Тогда все дерево потянулось туда, к саду. Так и росло под углом... Приятно было, подъезжая на такси, в очередной раз произнести: «Вот под ДЕРЕВОМ остановите, пожалуйста». И никогда шофер не переспрашивал, настолько было ясно, что значит «под ДЕРЕВОМ». Три года как его нет. И каждый раз взгляд мой спотыкается об эту пустоту, об эту возмутительную плешь, оголившую нашу подворотню. И ночью, подъезжая на такси, я до сих пор открываю рот, чтобы сказать шоферу, как следует остановиться, но спохватываюсь: шоферу дерево невидимо. Нечего мне теперь ему сказать, на эту секунду выходит лишние двадцать метров, прежде чем я грубо говорю: здесь. Ну, возвращаюсь немного назад.

Дерево спилили — это было СОБЫТИЕ. Долго валялись во дворе его слоновые чурбаки. Отцу мы про дерево не сказали. Отец уже не выходил на улицу и про дерево так ничего и не знал. Я застал свое сорока-

летие в Москве. Он успел меня поздравить по телефону... Через час... Когда я прилетел первым... стал одевать отца и просунул руку под поясницу... то было последнее его тепло.

Из обширной связки ключей от многочисленных чужих домов я достаю один. И прежде чем повернуть его в замке, просовываю руку в щель почтового ящика: шторка, приоткрывшись, звякает. По этому звуку все узнавали, что пришел отец. Я поворачиваю ключ.
— Здравствуй, мама.

...Смерть была мгновенна. Он о ней даже не подозревал. А он ведь так ее боялся. Последний день был даже какой-то легкий, хороший. Даже аппетит: котлетку попросил. Племяннице и сослуживице позвонил. Больше года никому не звонил, а тут позвонил: принял поздравления с моим сорокалетием.

Лицо у него было красивое, ясное. Кровоподтек на лбу: стукнулся, когда упал, — почти незаметен. Так ведь, оказывается, врач сказал, больно ему не было: ударился он уже мертвый. Он умер даже прежде, чем встал. Мертвый встал и упал: Ну и что ж, что кремация. Это была и его воля. К тому же удалось похоронить на нашем кладбище. А там захоронения уже запрещены. Гроб бы не удалось...

Как бы слабо жизнь в нем ни теплилась, она не успела сойти на нет, не гасла последней точкой, а оборвалась, вся, какая в нем была, — фронтом, водопадом. Не его собственное существование, а весь мир, представавший перед ним, рухнул в эту пропасть. Вот особое качество времени и темноты, которое не могу осмыслить: мир, разрубленный, как яблоко. И затем — печь...


Но через год он наведился лично, во сне. Будто на улице встретился. Был он как-то обтрепан и весел. Легок. На брюках бахрома. Я был с мамой, а он очень обрадовался именно мне. Потрепал по руке. Мама даже приревновала: «А меня?» Потом мы обедали в какой-то забегаловке: отец ел жадно и молодо, мы смотрели, как он ест. Он ел и разговаривал (манера, так раздражавшая когда-то мать), рассказывал матери с энтузиазмом о моих литературных успехах. Это было так удивительно и на него непохоже! Вот кто,

1935920
2062010033

слава богу, полагал я, не дожидаясь этих «успехов», он бы их не вынес. А тут, на тебе, убеждает мать в обратном... Обрадованный неожиданной поддержкой, я решил воспользоваться случаем порасспросить его о «тамошней» жизни (не американской, а загробной), он отмахнулся жуя: «Да я там редко бываю...» Странная эта фраза поместилась на его вилке, как макаронина. Его голод и вид бродяги подтверждали мои христианские сомнения по поводу современного обряда... но, с другой стороны, неприкаянность эта была как бы только внешней, иначе откуда эта беспечность и свобода, которые никогда не были ему свойственны? Поэтому я не остановился и спросил его о главном: я склонился к нему, чтобы не слышала мама, и как свой своему: «Ну, а сколько мне осталось?» Отец глянул и зажевал более задумчиво. Я стал его убеждать, что знать мне надо не из чистого любопытства, что я готов ко всему, но должен, в таком случае, успеть. Имелось в виду мое Дело (с большой буквы), которое, как мне стало теперь ясно, и, по-сыновьи, лестно, он вполне признавал. Отец слушал меня невнимательно, наконец, что-то окончательно взвесив, не переставая жевать, выкинул мне, даже небрежно, как бы не разделяя нашей смертной и праздной заинтересованности в жизни, — выкинул два пальца. На свободной от вилки руке. Как рога или заячьи уши. Или чтобы не поняла мать. Или это римское пять. С чего бы римское?.. Тогда уж мог выкинуть по-русски — пятерню. Или это означало латинское V — Виктория? Конечно, мне сразу показалось мало — два. Я подозревал, что немного, но не два. 25 июля 1980-го... нетрудно было тут же подсчитать. Но уточнить мне не удалось. Сон распался.

Но впереди было, по крайней мере, два года. А я был на Золотом берегу, влюблен. Мы не виделись целый год. Попробуй назначь свидание, если девушка инопланетянка... Осуществление намерения казалось немыслимым. Вот же! Мы вдвоем. На Златом Береге. У меня куча левов в кармане. Мы одни. У нас все еще впереди. Впереди у нас месяц. Причем последний. УСПЕЛ! Чудесное везение.

В одном отец уже оказался прав: в той своей мне пренебрежения к моему интересу. Ничего я не ус-



пел за эти два года! Жизнь есть жизнь. Ее не про-
ропишь. И с предупреждением я прожил, как без не-
го, и, в этом одном смысле, я собою доволен. В этом
смысле я оказался свободен и лишней полочки к свое-
му кресту не приколотил. Осталось три месяца.

Если не Виктория, конечно...

Так что положение мое не кажется мне скверным.
Потому что — куда тут хуже? Друг покинул меня
больше года назад, остальные вот-вот уедут, как ум-
рут. Дела прикрылись, денег нет; развод, жить негде.
И не пишется: плоды зацементировались в моей утро-
бе, ни одного яичка не снес. Так и не снес... зачем бы-
ло тогда отца выпрашивать? Правда, дети мои — не
нарадуюсь. Вот только дочь не поступила, и сын опять
простужен. Правда, в отношении принятых на себя...
до сих пор справляюсь: доедаю автомобиль. Правда,
есть еще несколько бывших и будущих красавиц, бла-
госклонных ко мне. Но лучше бы я был хуже для них,
чем для себя. Правда, матушка — дай ей бог здо-
ровья!

В общем, устроился...

Блудный сын, возвращаюсь домой. Сорок лет на-
зад меня сюда привезли, и вот проходят каких-то со-
рок лет и я опять здесь! Оплот! Мне все еще есть «ку-
да прийти» — это ли не итог.

Мама у меня девочка. Говорит бойко и радостно,
никогда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению...
говорит, и будто у нее за спиной две гимназических
косички прыгают или два пыльных бабочкиных кры-
лышка трепещут... Обсыпает меня всеми семейными
новостями — причем совсем последними, совсем мел-
кими, словно я всего вчера вышел и, следовательно,
все еще хорошо помню и знаю. И вот я покрываюсь
этой пылью, складываю крылышки, принимаю вспять
форму кокона, спеленываюсь и готов больше никогда
не родиться, а здесь с нею, с мамой, и пребывать...

— А ты знаешь, нас выселяют! — весело прощебе-
тала мать.

Подробности мне рассказывает сосед Никонович.
Мне кажется, он слегка привирает, что ему уже 89. Но
возможно. Паспорт он мне показывал. Возможно, Ни-
конович вечен. За последние сорок лет он не только

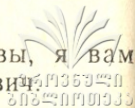
1935940
81220110333

не изменился, но решительно помолодел. В институте геронтологии он числится как объект. Он высок, строен, легок; на гладко выбритых щеках бодрый румянец; и седины у него не больше, чем у меня. Четыре войны упрочили его осанку и выправку, и сознательное холостячество пошло впрок. Начинал он с унтера, теперь по вызову «Ленфильма» соглашается выходить в мундире не ниже полковничьего, впадая уже в царскую фамилию, на уровне Великого Князя. К его бравому виду пристал зычный голос, грассирующий баритон. Но баритон у него удален по поводу рака гортани, операция прошла преуспешно, так что и в онкологическом отношении он теперь — объект. И надо сказать, таким разговорчивым, как после операции, он никогда не был. Сначала его было трудно понимать, и он писал бесконечные записки твердым гимназическим почерком. Теперь, то ли он, то ли мы, научились. Я перестаю себя слышать, что отвечаю, и мы беседуем, как две рыбы в аквариуме.

Кстати, наш обреченный, как оказалось, дом отчасти аквариум и напоминает — начало века, модерн: что-то есть в его линиях именно аквариумное.

Комната у меня уже покачивается перед глазами; плывет, фокусничает пространство, как и положено в аквариуме, превращая, под определенным углом, толщу — в линзу, то сплющивая собеседника, как камбалу, то растягивая, как рыбу-иглу... Я жалуясь Никоничу наконец на головокружение и низкое давление, и лучше бы я этого не делал... Во-первых, по его примеру, я должен пить перед обедом сухое вино (на десять минут удаляемся от темы, погружаясь в свойства витаминов и глюкозы...), но не много (это намек), а — всегда (и это тоже намек), результат, как вы видите, налицо... а во-вторых, курага (еще пять минут о свойствах и ценах на курагу)... а в-седьмых, бульон (но это уже шутка — Никонич долго булькает). Шутка вот такая: Декарт (он мне покажет книгу...) советовал страдавшему анемией и тому подобными недомоганиями Паскалю пить крепчайший бульон (а как же холестерин и склероз!.. лучше бы я не уточнял...) ...так вот, бульон, а во-вторых, по утрам как можно дольше не вставать с постели, до чувства полной усталости от лежания... Ха-ха-ха! Правда? Де-

карт?.. Я сейчас принесу вам книгу... Что вы, я вам верю. Спокойной ночи, Александр Никонович




Утром я долго не хочу проснуться. Неслышная, с шорохом ночной бабочки, летает из кухни в комнату мать. Я не хочу проснуться, потом я не хочу просыпаться. Я не помню, я хочу не вспомнить, почему я этого не хочу. Я должен был проснуться от телефонного звонка. Если я свешу вниз руку, она упадет на телефонную трубку. Может, мать унесла? Не открывая глаз, опускаю руку — трубка хорошо покоится на рычаге, не соскочила, не съехала... Не позвонила! Я отворачиваюсь от жизни к стенке. Но сон уже нейдет. Я храню в себе эту последнюю утреннюю возможность ни о чем не подумать — странное напряжение! О чем же именно я не думаю? Как бы не могу вспомнить... Часы бьют раз. Сколько это? Половина чего? Если бы вспомнить хоть какую деталь последнего сновидения, можно было бы попытаться вжиться в него, вернуть... Но оно ушло, как видно, навсегда. Жалкие попытки самому смоделировать сновидение напоминают тошнотворные усилия письма... Часы бьют, и опять — один раз. Значит, полчаса я просопротивлялся в стенку... С облегчением переворачиваюсь на спину. Что с часами? Либо час, либо полвторого. Эта воскресшая логическая способность восхищает меня. Если бы позвонила, то не позже двенадцати (у них десять...), — с поправками на все перекладные (через две столицы, от ихнего Ленинграда до моего...) — уже не дозвонилась... И это уже что-то, что уже... Голова моя абсолютно пуста. И тут — солнце.

Оно меня достало. Ему не было до меня, конечно, дела, как не было дела до меня и времени, которое я пытался перележать. Все, тем временем, продолжалось. Надо было открыть глаза на это.

Я открыл. То, что я увидел, стоило того... Я лежал, все еще тая в себе накопленную старательным лежанием неподвижность внутри и пустоту головы, и наблюдал один общеизвестный феномен — пылинки в солнечном луче. Сколько лет я этого не видывал? Десять? двадцать? все тридцать? Луч стоял высокой прямоугольной призмой, пробившись между оконной рамой и занавеской, снизу подрезанный высоким пле-

чюм моего роскошного письменного стола, за которым
еще мой дед ни строки не написал, изготовив его по
заказу и собственному проекту... Срезанная столом
призма света оперлась на паркет и гранью врезалась
мне в подушку. Пыли хватало, однако. Она клубилась,
восходя и оседая, скручиваясь в галактические спира-
ли, и даже сверкала, ловко находя в себе грань, лю-
буясь тайной материи в себе. Она восставала из пра-
ха, демонстрируя некую космическую солидарность ма-
терии. Прах, пыль, пылинка, частица, тело... Непости-
жимое чудо. Да, будь сейчас семнадцатый век, совет
Декарта пришелся бы кстати, и я вылежал бы сейчас,
в позе интеграла на своем боку, два-три классических
закона, будь я Паскаль, конечно... Что-нибудь о воз-
душных потоках, или дисперсии частиц, или непро-
зрачном теле... интегральное исчисление, само собой,
висело в воздухе, если оно еще не было открыто... Не-
кий победный вихрь — торжество закономерностей —
творился в солнечном луче и даже как бы ликовал по
поводу собственной непостижимости: законы не таи-
лись, а демонстрировались беспомощному уму, прак-
тически без риска, что я могу проникнуть хоть в ка-
кой завиток Творения. И так было ясно, что не стоило
его, бедного (ум), напрягать, что не только в пыли
этой находилось все то, что составило славу классиче-
ской, там, механике и математике, но и вообще — все,
и то, что было потом, и все, что еще будет открыто,
и все это будет ничтожно по отношению ко всему, что
происходило в этом луче. Этот демонстративный танец,
потому что и ритм, и музыку я уже как бы и слышал,
имел в себе и тот смысл, что не мне он вовсе предна-
значался и даже — не лежавшему в моей позе три
века назад, по совету Декарта, Паскалю... «Торжест-
вующая закономерность», — повторил я про себя, и
мысль ускользала от меня в вихре остальных, мне не-
доступных, что меня как бы и радовало. И торжество
это было не по отношению ко мне и нищему моему
сознанию, кончившему страстным желанием никогда
не поднимать головы хотя бы и с этой подушки, и да-
же не по отношению к человеческому сознанию вооб-
ще, от которого я, в данный момент, как только мог,
неполномочно представлял... торжество это
было в постоянстве и нескончаемости своего дления:



-ующее, -ующая, -ующий — что-то и кто-то. Так что можно было и не напрягаться: будто любительный нами закон — не только был ничтожной частью этой мировой, все время обнимающей, все поглощающей в себя закономерности, но и как бы исчезал напрочь, как только бывал пойман и сформулирован, законешко этот; будто, вслед за нашим сознанием, исчезал наш закон и из мироздания, как ненужный, как умерший, без которого оно продолжало в своем ующем длении обходиться, так как его и не было, а мы все перли с ним назад, примеряя к улетевавшему от нас за время нашей нелепой мозговой остановки мирозданию, улетевавшему на расстояние, несоизмеримое с тем, на котором мы находились в тот опьянивший нас момент, когда нам показалось, что мы что-то про что-то поняли и открыли... Вдохновенная радость охватила меня от зренья этого мечущегося перед взглядом праха — вдохновенная радость собственного перед ним ничтожества: на какой из этих пылинок пронесился я мимо мириада остальных?.. И если бы надо было назвать мне мою вновь обретенную землю, назвал бы ее Гекубой... куда я, писарь, войду без цитаты?.. Рассеянный свет! Свет рассеялся на мерцающих пылинках — расселился. А был ли он меж них? Они ли рассеялись в свете? Мне ли сподобилось еще раз припасть, чтобы в очередной раз лишиться всего этого, запасливо стяхивая пыль с колен? Я ли увидел свет, меня ли осветили, чтобы я сверкнул своей пыльной гранью, проносясь навсегда? Господи, как не страшно, на самом деле, что ты есть. Ну и будь себе на здоровье. Мне-то что. Экое ликование, что дано мне было прокатиться на твоей карусели! Рассеянный свет... куда он рассеялся, когда? Что он забыл или потерял, рассеянный какой... И какой бы ни был рассеянный, а свет! А свет, какой слабый ни был — о! Свет — всегда весь. И частица его — есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет — он все еще доходит до нас. И мы еще есть. Ибо куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца. Может, не заходит, а рассветает...

Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый и надраенный паркет, без пылинки на нем... осветил маму. Казалось, она вытка-

лась из этой волшебной пыли и все еще немного про-
свечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она —
всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело:
как бы луч наткнулся на луч... интерференция, что ли?..
родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог раз-
личить ее в рассеянном свете. Мама!..

— Проснулся? Что хочешь на завтрак...

— Я бы выпил бульону.

Ах, при чем тут Паскаль! Неизвестно, пробовал ли
он советы Декарта... Бульон обжег мне небо и своим
длинным вкусом отравил первую сигарету и все, с та-
ким трудом наложенное, одухотворение...

Я так хотел продолжить и так не мог...

Срок миновал. Выжил... Рассеянный свет! Куда
рассеялось все? От какой нашей рассеянности... И ка-
кой свет мы имели в виду?.. Все густеет вокруг. Сужа-
ется. Теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился,
но что-то, пятнышко какое-то... растет впереди. Впе-
реди или в конце? Там — свет. Оттуда свет. Тот свет.

Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу! В ней
время пойдет в своем подлинном направлении —
вспять! Только — никаких ретроспекций!.. Просто сна-
чала воскреснет отец, потом и болезнь его уйдет в да-
лечное будущее, восстанет дерево и прирастет к нему
ветвь, а там и он взлетит с асфальта на крышу в сво-
ей полотняной рубашке; помолодеет мать... Быстро, ус-
коренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттают бло-
кадный лед, и не начнется война. Более ласково за-
сверкает листва, как в детстве, как после слез, когда
тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не
шлепали... Оживет бабушка. Небо взглянет все более
незамутненным взором, вдруг я закричу от первого
шлепка, и — рассказчик еще не родился. Как изменит-
ся мир оттого, что в нем меня еще не было? Какими
неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания ок-
расится он без меня?.. Как все заплещет и заиграет
счастьем!

И вот — буквально ничего не произошло. Все уне-
слось в будущее.

Цокая по булыжнику, подкатит экипаж; дама с
солнечным зонтиком спорхнет с подножки, поддержи-

ваемая под локоток господином, в котором я не сразу узнаю своего деда, а лишь потом — догадаюсь, дамы из-под рюшей чуть подобранной юбки обнажатся повыше башмачка... какая хорошенькая ножка! Какая красивая, какая юная бабушка у меня в 1910 году! А это что за команда, просыпалась, как горох? Губастый, в белокурых локонах, мальчик в матроске держит в обнимку стеклянную банку с заспиртованной вороной — мой дядя раньше всех ощутил свое призвание... а вот и тетя, узнаю ее по носику, да ей и двух нет — что о ней говорить... и вообще не так уже и хочется мне их особенно разглядывать — взгляд мой прикован к другой девочке: только она способна так всему удивляться, только у нее могут быть такие круглые от восторженного ужаса глаза... Мама! Мамочка... Не бойся, ты меня не знаешь... Как же тебе интересно сейчас... Вносят баулы, картонки, коробки, саквояжи... Какой новый дом! Какой большой! Неужели это ты будешь в нем жить, девочка моя?..

Какой ты и впрямь занятный, непохожий на другие, дом! Никто еще не знает, что ты — в стиле начала века, что ты — модерн... Ты просто нов и удобен для жизни моих живых. Тут и они отходят от меня не в различимую даль будущего, и почему-то это все меньше занимает... Не про это ли я, когда-то потом, расспрашивал мою мать? Будто был ли я?.. Но вот — и нет меня.

Какая же это когда-нибудь будет книга! Ах, надо торопиться... Может, еще не поздно?.. Может, еще не...

МОГИЛА ПОЭТА

«За что?» — вот вопрос. За что — Илью? Александра Сергеевича — за что??

«Александр Сергеевич жальчее», — сказал некий крестьянин про смерть Льва Толстого.

За что — они нам? За что — мы их? Им — за что??

Где правильнее похоронить поэта: где он родился? где он писал? где он погиб?



А где он, например, писал? Когда было ему?.. было некогда и негде.

Это теперь мы возводим им дома, в которых они жили. Храмы. И молимся на них. В киотах — фотографии, первоиздания, черновики... портреты отцов и детей, возлюбленных... чернильницы, стулья, зонты... печатки, перчатки, пистолеты... фрак, сюртук... Архалук!

Сюртук мальчика с модной вытачкой. Тоньше пальчика в фалде дырочка. В эту дырочку мы глядим на свет: нам на выручку кто идет иль нет? Жил один Сверчок... Господи, прости! Наступил молчок на Всея Руси.

Вещи — доказательство того, что поэт был. Будто мы не верим, будто себя убеждаем. Лишь экспонаты — неоспоримы. Будто нам мало текстов... Нужна еще биография. Приятно то, что точно знаешь; приятно то, что всем известно...

...Родился на Украине. Жил в Петербурге и Италии. Не был женат. Путешествовал в Иерусалим. Получил письмо от Белинского. Просил не хоронить. Перехоронен.

...Родился в Таганроге. По образованию врач. Жил в Москве, в Мелихово, в Ялте. Путешествовал на Сахалин. Умер в Германии. Похоронен на Новодевичьем...

Кто такие?.. Хором: Пушкин! Правильно, дети, Горький.

Заполним разом все клеточки в кроссворде:

Родился в 1796—1828 гг. в небогатой помещицкой семье старинного рода, умер в 1829—1910, прожив 26—82 года. Знал от двух до шести языков. Рисовал. Писал вальсы. Служил в министерстве иностранных дел. Воевал. Был разжалован в солдаты, сослан на Кавказ, в Сибирь и родовое имение. Путешествовал, не был выпущен за границу, прожил 10, 20, 30 лет в Италии, Франции и Англии, где и умер. Погиб на дуэли, был убит, простудился, погиб... Прах его покоится на родине, перенесен из чужеземья, могила утрачена. Написал «Горе от ума», «Медного всадника», «Героя нашего времени», «Мертвые души», «Войну и мир», «Идиота» и некоторые другие произведения. Сто томов писем.

С признанием при жизни у русских писателей об-

стояло не так плохо, как, скажем, в Америке. У нас не открывали через сто лет Стендаля, По, Потюцкого или Мелвилла. И читатели, и власти более или менее сразу знали, с кем имеют дело. С биографиями похуже, но все-таки лучше, чем в следующем веке. Что поэты сохранили, так это исключительный патриотизм.

Да, биография налицо. Но где же тогда дом, который мы только что посетили? Когда же поэт в нем жил? Он в нем или родился или умер. Приезжал в гости. Один Лев Толстой... да и тот, в конце концов, не выдержал и умер в дороге.

Скоро кончится тревога. Верный путник хвалит бога.

Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Нет никакого дома — одна дорога. Путь. И если начало пути, место рождения, имело меньше всего шансов сохраниться для благодарных потомков, потому что новорожденный гений — такой же младенец, как все, не различишь (как поражает доска на одной из московских «высоток»: здесь родился Лермонтов!), то место смерти и могила должны быть куда более отчетливы у человека, столь свершившего... Казалось бы.

«Эти люди обо мне не вспомнят...», «Эти люди вспомнят обо мне...» — между фразами как раз и пролегает поколение, которое все забудет.

И скитания их не прекращаются за гробом.

Как могло так случиться, что пошел дождь, жена слегла, за гробом шли всего четыре человека (один из них Сальери), а до кладбища дошел один, могила была не готова, захоронили в общей, для бедных, а когда вдова пришла через день, смотритель не мог ей указать могилу? И это был человек, с раннего детства известный царствующим особам главных дворов Европы!.. не говоря, что — гений, какого не носила земля, причем при жизни признанный гением. «И Моцарт в птичьем гаме...» — там, в листве — его могила.

И сколько бы ни ссылались на интриги III отделения, опасавшегося народных волнений, никак до конца не понять, зачем же все-таки с такой таинственностью, ночью, в сопровождении жандармов, гнать

сани с гробом поэта в Михайловское? Могила, правда, на этот раз известна. Зато с местом дуэли, при жизни ее прямых свидетелей и участников, происходят таинственные смещения... даже слева или справа от дороги, через пятьдесят лет они не могли установить. Так что, стоя у обелиска, на месте дуэли, возможно, вы — совсем не в том месте, где пролилась его кровь.

А беспокойный прах Гоголя?.. Он ведь так просил, предупреждал. Чего стоило его завещание в глазах людей, не сомневавшихся, что хоронят гения? Сочли бредом.

И уходит путь-дорога. Хоть людей на свете много, Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Праха поэта беспокоят через сотни лет, находя ему более почетные или более символические места для захоронения. Кости ли не могут успокоиться, мы ли не можем? Прах Колумба и после смерти дважды пересекает океан, так и носится по волнам четыре сотни лет, Чаплина крадут...

Хлебников, вечный паломник, сказал про друга: «Степь отпоет...» И его самого отпела степь. Как отпела она, ледяная, и Цветаеву, и Мандельштама. Она же, скалистая, отпела и Пиросмани.

Нет, тут не одна лишь наша благодарность! Тут что-то еще, не пойдем, что...

Великие изгнанники и скитальцы, у которых место рождения равно месту смерти... Кто они такие? Откуда взялись и куда ушли? Что это прочертило нашу земную жизнь, как небосвод?..

Я все стоял и стоял спиной к турбазе. Вардзия погружалась в ночь, как в молчание. Ничего там было уже не различить, но что-то все тяжелело и тяжелело во мраке — присутствовало. За спиной разгорались танцы. И музыка, и свет турбазы, бившие мне в спину, туда не достигали. Я стоял на границе того и другого. Вспыхнула и коротко пролетела звезда.

«Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться. Птицы к душам вверх стремятся, — так и тело ждет конца».

Руставели ушел в Иерусалим. Все они уходили
в свой Иерусалим. И не возвращались. Я вглядывался
в ночное молчание Вардзии, памятник людям-пти-
цам, когда-то ее населявшим, и сам немел перед этой
сверхмогилой истории и родины, и чем больше я ве-
рил в самого Руставели, тем меньше в его могилу. Не
в то, что ее нет или что ее так и не нашли... А в само
то, что он там, под камнем, есть. Его могила была здесь.
Родина — его могила. Он — ее звезда.

Жизнь — лишь беглое мгновенье. К миру только
отвращенье.

Мне с землей соединенье. В ночь ведет меня тоска.

Поэты—одни и те же люди. Столетия спустя не
знавший Руставели русский поэт повторит:

Не жизни жаль с ее томительным дыханьем...
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над мраком мирозданья
И вдаль идет. И плачет уходя.



АКТЕР

Финальный жест поднял толпу.
 Галерка хлопала и мялась,
 А он в фанерном спал гробу,
 Не зная, смерть где, где усталость.
 Он побежден. Аплодисмент.
 Завлит в ударе. Дамы слезны.
 А он, в гробу, еще момент,
 Не выдержит. Умрет. Серьезно.

ДВОРЕЦ В ЦАРИЦЫНО

1.

Блажен, увидевший воочью
 Дворец в оправе синевы,
 Блажен, в ночи недолгосрочной
 Прозревший вечность сквозь холмы!
 Готических узоров взор,
 В туманной, вековой святиле:
 Дворы, пристройки, пруд и бор..
 Мы здесь с тобой когда-то были,
 И звезды помнят разговор.

2.

Дворец просеял звезды и туман
 В покой холмов и в тишь ночного поля..
 Тропа вела в чертоги лучшей доли:
 В дремучий парк, где луг каймой простер
 Простор торжественных готических узоров,
 Пристроек, высветленных лунной сединой..
 Старинная душа здесь зрячей взора,
 Тропы наверх короче путь земной.

●
 Как имя дать, чему свидетель,
 Неназванному имя дать,
 Когда струят простор и ветер
 Всю ту же ширь и благодать?

●
Пусть будет вечен вечер у реки,
Не помнящий названья переулоч,
И вы, ушедшая от света и от гула,
И я, идущий слева от руки,
И в клетоте полуночном ручей,
Пробивший залежалые сугробы,
И блеск внезапно найденного тропа,
И ясная доверчивость речей,
И старенькая тумба для афиш,
Пусть будут вечны гравий под ногою,
Впервые — ощущение покоя,
Огни, деревья, и разлив, и тишь.

●
Н.

Ты там живешь,
где ночью у причала
глубинное мерцание огней.
Там, где простор берет свое начало,
на взлетах волн —
соленых губ морей.
К тебе приду.
Меня ты встретишь песней,
светло и нежно голову склоня.
И угадав, что мы, как прежде, вместе,
нам улыбнется
Мудрая Земля.

ГОЛУБЬ

А. И. Ц.

Кто б ты ни есть — исполать!
С чьих бы ни пущенный
рук,
Голубь, слетевший узнать,
Что происходит вокруг.
Счастливый тем, что ничей,
Кличет ручей стороной
Переселенье очей
В мартовский воздух речной.
Домик слетает с крыльца
Склоном, в бурьяне витом,
В самозабвенье слепца

Бьется зеленым крылом.
Каменной кладки белки
Смотрят забором на юг,
Превозмогая тоски
И голошенья испуг.
Кто б ты ни есть —
исполать!
В чьем бы ни снившийся
сне,
Голубь, слетевший узнать,
Что происходит во мне.

●

Этот гул, эта дрожь, это зоо-
единение двух «л» — звука белого и голубого.
Имя Беллы знакомо тебе
по смертельной кавказской тропе,
как знакомы имена Александра и Михаила —
ты их внучка, подруга, вдова,
ты их ждешь, хотя похоронила.
Приверженность осени, стуже, спячке,
наличие слабой, но горячки —
нефть по воде — стихи в тетради,
и одиночество — не на бумаге.
Слог возвышенный, медленность речи,
рук дрожанье, печальные узкие плечи —
Белла — дуло ружья в арсенале музыки —
стоит караул на воротах музыки.
Постоянное, чем на купюре знак водяной —
как батарея нагрелся лоб — холодный озноб
щурится в глазке одиночной камеры, —
он горячей автогенного пламени.
В присутствии февраля по минутам худеет свеча;
день прозрачен — продолговатая апельсиновая долька:
простудная пелена спадает на горло болью —
плата то за удел быть поэтом,
наблюдать за игрою сентябрьского легкого света.
Голос-сиротка слагает песни;
чародействует улыбка с четким призывом грусти,
летят медяки в шляпу на тротуаре, —
grazia, bello, за сны о Грузии.
Увы, мне не быть никогда рядом с вами...

ПОСВЯЩЕНИЕ ЮННЕ МОРИЦ

Я птица черного пера...
(Ю. Мориц. «Ночной
Тбилиси»)

Птица черного крыла,
птица белого полета,
набухает тишина
до прихода вертолета,

и над полем
все еще нераспаханным
и диким,
пролетают два крыла,



ЦИКЛАДЫ
5920
3032010333

уходила Эвридика,
над Владимиркой гудит,
ожидая ночи, вечер,
и над полем тем кружит
многострунный звонкий
ветер,
и кипит под ним трава
(грива лошади), но скоро
степь распадут трактора
на гектары,
рев моторов заглушит

писк мышей и крик цикады,
оборвется,
как струна (и лампада),
выше хутора и сна,
пашни комбайнера,
выше ветра вертолета
и парящего орла
птица черного крыла,
птица белого полета,
а под нею синева,
как открытые ворота.

Пятигорск



Марк БОГОСЛАВСКИЙ

ГРУЗИНСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Каждый камень не камень — кристалл
С голубым и багряным свеченьем.
Каждый пень словно праздничный стол,
Вкруг которого гул песнопенья.
А барашек печален и тих.
А чекмень, раздуваемый ветром,
Ходит возле глазастых франтих
По законам грузинского «ретро».
А мазок, загибаясь, как бровь,
Недреманное око рисует.
В масле мысль закипает, что кровь
У летящей по кругу плясуньи.
Дева, дерево, конь и гора!
Вы на диво телесно-охристы!
А небесного блеска игла
Рассыпает по воздуху искры.
Откликается сердцем струна
На густое, как мед, «Аллилуйя!»,
И внезапная тишина,

Будто женщина, в губы целует.
Но врубается сталь в черепа,
Но слетают с копыт подковы,
И гудит вдоль ущелья тропа,
Когда в битву бросаются кони.
А над битвой не небо — набат,
Нагнетающий гнев и решимость.
И дымит в междугорье закат,
От любви и страдания ширясь.

ТАКИМ Я УВИДЕЛ ЕГО ВПЕРВЫЕ

Подмигивающий фонарь
В сем мире утверждал беспечность.
Но, как переодетый царь,
По городу бродила вечность.
Она подсвечивала лица
И углубляла голоса,
Вздывала девичьи ресницы,
Листала души, как страницы,
И предрекала чудеса.
На улицах при свете звезд
Клялись влюбленные. Их руки,
Как бы в предчувствии разлуки,
Воздушный воздвигали мост.
А на балконе, над Курой,
Как грузный вертолет, висящем,
Шел — ах, Тбилиси! — пир горой,
И старцы плакали от счастья.

Харьков





ГРУЗИЯ

Я разыщу пути к тебе без компаса,
Да и примет не надо мне иных,
Когда церковей твоих увижу конусы,
Почую чуткость башен крепостных.
Я здесь рожден, душой с тобою сросся я.
И в час, когда приметой вековой
Плывет ко мне твое многоголосие,
Я сознаю, что и поныне — твой.
Я слышу рек звучанье белопенное,
На землю на твою ступив едва.
Издалека приходит песнопение:
В хорале стройном — гордые слова.
Родство с тобой хранить навек завещано.
Те дни в нетленной памяти ясны,
Когда в полях истерзанной Смоленщины
Твои сражались, Грузия, сыны.
В пыли дорог неодолима грусть моя,
И знаю, что придет когда-то срок,
И я вернусь к тебе навеки, Грузия,
Найдя предел бескрайности дорог.

ГЕОРГИЮ КУЧИШВИЛИ

Кучишвили — в переводе сын
улицы — псевдоним Чхеидзе, гру-
зинского поэта. «Фамилии «Чхеидзе»
благородной ты имя «Кучишвили»
предпочел», — писал поэт о себе.

Тебе, поэту, поклонюсь я низко,
По улицам Тбилиси колеся.
Ты дал названье улице тбилисской,
Где я на свет когда-то родился.
Ты гордо шел по жизни, не сутулясь,
В карманах руки, с вызовом свистя,
И стал ты сыном всех тбилисских улиц,

Ты — любящее, нежное дитя.
И в паспорте не требуется визы,
Что гражданин тех улиц — это ты.
И вот ты от тщеславия Чхеидзе
Возвысился до славы нищеты.
С богатой спеси ты сдирал полуду,
Твоих стихов непримирима речь,
И песни пел ты уличному люду,
Уча его достоинство беречь.
Ты униженных песнями возвысил,
Как верный сын те улицы любя,
И без тебя не мыслится Тбилиси,
Как без Тбилиси не было б тебя.

ПОДЪЕМ НА ФУНИКУЛЕРЕ

Я все выше поднимался. Чуть поскрипывали блоки.
Шел вагон, напоминавший видом параллелограмм.
Открывалась панорама: возникал провал глубокий,
и внизу под жарким солнцем город красками играл.
Парков пятна, улиц ленты. Серебром река сверкала.
Теплый воздух был звучаньем до отказа напоен.
И стояла, как бессмертье, над рекою Нарикала,
перешедшая в сегодня к нам из глубины времен.
Эта вечная картина переполнила мне душу,
и в который раз ликую, что вернулся наконец!
Так ликуют мореходы, вновь ступившие на сушу.
Ты прими, мой город, сына, вечный город, мой отец!

СЕЛО ЦИНЦКАРО

Словно в древнем забытом веке,
на пристенных приступках в ряд
восседают седые греки
и о бренности говорят.
В их руках шевелятся четки,
не часам ли ведут учет?
Заведенный порядок четкий
в бесконечность веков течет.
Пусть не розами путь усеян,

пусть не каждый из них герой, —
неизменно здесь Одиссеем
называется каждый второй.
В этом тоже своя намеченность:
как свидетели всем временам,
шли они через целую вечность
и пришли, умудренные, к нам.

Москва



Гелий АРОНОВ



Грузинский стих перевожу:
к вершинам снежным восхожу,
спускаюсь в пряный зной долин,
сок золотистый лью в кувшин,
слежу в Сионском храме свет,
мерцающий из дали лет...
Опять даруют небеса
друзей далеких голоса.



Пока мама жива, мы еще молоды.
Грузинская поговорка

Я еще молод, пока ты жива,
мальчик доверчивый,
хоть поседела моя голова,
жизнью заверчена.
Если ты плачешь еще обо мне,
мне легкомысленней,
если боишься: раскроюсь во сне,
греет воистину.
Если не там подставляю плечо,
все мне отпустится,
бабочкой легкой порхаю еще,
белой капустницей.
Если готов раздарить все до дна
людям беспечно,
значит, ты будешь во все времена,
будешь жить вечно.

Москва



МТАЦМИНДА

Мтацминда. Святая гора.
Уже небеса отгорели.
С утра до заката, и вновь до утра
Безмолвно. Из каменных щелей
Клубится туман. И густеет внизу.
И в сумерках церковь Давида
Белеет. И темные тени ползут,
И скрылась дорога из виду.
Здесь Нина роняла на камень слезу,
Нико любовался закатом.
И гордого Важу сюда привезут
Чаргали далековато.
Илья и Акакий молчанье хранят.
И красною искрой живую
Горит над плитою Симона гранат
Венком над седой головою.
Мтацминда овеяна призрачным сном.
И тени у врат пантеона...
Луна освещает таинственный склон
Улыбкою Галактиона.

●
Вечерний Тбилиси.
Огни, как глаза диких кошек.
Темные выси,
Обсыпанные звездной крошкой.
Из тысячи похожих
Узнаю Мтацминду — к ней стремилась.
Поздних прохожих
Удивляя, я припустилась
Бегом. Асфальтовый
Накат откликнулся тугфелек эхом.
Стеной базальтовой
Разбилось эхо. Вечерним смехом

Ночью наша буржуйка похожа на бабу в тулупе.
Ночью страх выползает зверьем из углов.
Где-то стонет земля и гниют ее раны и стружья,
И война извергает огонь из окопов и рвов.



Волемир ГРУЗЕЦ

ЕСЕНИН В ГРУЗИИ ВЕСЕННЕЙ

Вбиты гвоздики-звезды
в поднебесную твердь.
Бьется сердце тревожно
в колокольную медь.
Петухи откликались,
били крыльями в грудь
и как будто старались
пламя синее сдуть.
Еще в дьявольских лапах
была лунная тень,
в фиолетовый запах
окуналась сирень.
Утро чутко плескалось,
сняв заманчивый сон,
в цвет весны одевалось
под задумчивый звон.

В эти ночи нередки
беспокойные сны,
белокурые ветки —
поцелуи весны.
Здесь туманы снегурятся,
навевая покой,
помнят древние улицы
его встречи с луной.
Помнят грусть и тревоги,
и залиvistый смех,
о Тифлисе восторги
и тифлисский успех.
Кружит лира весенняя
кружевами меж гор.
Это гений Есенина
вышивает узор.

Ветер море стегал неистово —
гребни взмыли в табун коней,
наглодавшись чего-то лишнего,
запускал он лиловых змей.
Черный ливень, разбив оковы,
поглощая пожухлый зной,
рокотал между туч сурово,
низвергаясь в морской прибор.
Силы грозные мяли тучи,
выл от ярости ураган,
разноцветное море мучили
кони, рвущиеся к берегам.

●
Ясные дни над Москвой,
Воздух такой голубой,
В воздухе пахнет весной.
Ясные дни над Москвой.

В городе бродят стихи,
Крыши чисты и тихи,
Горы подснежной трухи.
В городе бродят стихи.

●
Стенную сырость осень расписала
В торжественный и траурный узор,
Ей тяжело забыть про летний вздор,
Она устала, от всего устала.
Дожди все реже. Солнце заболело.
И по утрам на лужах корка льда,
И башня дома, за углом налево,
В туман осела. Может, от стыда?

●
Снег таял, снег таял, и листья кружили,
Как бабочек стая — они победили.
Снег таял, забывшись от горя, твердя,
Что это — измена, измена!
И тонкие, стройные пальцы дождя
Играли ноктюрны Шопена.

◆
Москва

Луара СТАСЕНКО

●
В апреле идут сиреневые дожди,
в каждой капле
счастливое сочетание лепестков.
Женщины гордо уходят
в весенние ливни,
а суровые мужчины
зажигают в душе
фонари детской радости.

В апреле идут сиреневые дожди,
в каждой капле
счастливое сочетание лепестков.

ВЕРА

Костыль дождя
беспомощно
стучит по мостовой.
Проникаюсь состраданьем
и любовью
к немощному старцу.
Иду к нему,
кладу его бессильные,
холодные ладони

к себе на грудь,
чтобы он почувствовал
трепет горящего сердца,
ждушего,
верящего
в весенний,
полный преображенья —
ливень!



Весной в сердце поселяется
дятел воспоминаний
и начинает свою
кропотливую работу,
которую можно сравнить
с милосердием
средневековой инквизиции.
Один за другим
он отрывает от сердца
кусочки прошлого,
и сердце исходит
невыносимой
прометеевой болью,
а в мозгу горбатится вопрос:
неужто приносящим
всегда суждено быть распятыми
на кресте своей любви?!

Цхакая



Талина ПАРЦВАНИЯ



Мой быстрый шаг роса отметит,
И, растревожив тишину,
Ступлю на гальку Кобулети

НАЧАЛО

Все началось так просто и умело,
Шел теплый дождь, а он в окно глядел.
И медленное это полудело
Преодолело временной предел.
Следите за погодой и умейте
Ей следовать, о люди, ведь она
Судьбе подобна. Собирайте, сейте
Дождливых дней сухие семена.
Они взойдут когда-нибудь, и болью,
Счастливой болью мысли зацветут.
Всего лишь сорняки они, не боле,
Но кажутся прекраснейшими тут...
Как одинок герой мой полузрелый.
Он видит неожиданную высь,
И в то же время медленно и смело
Дождинкой падает на землю, вниз.

ВИНА

Я забываю краски лета,
Как утром забываю сны.
В час неизбежного рассвета.
Во искупление вины.
Вины, меня постигшей рано,
Как только понял я всерьез,
Что жизнь моя проходит странно
И неумело. Вкривь и вкось.
Что ложь порою беспросветна.
Что есть во мне добро и зло.
Непостижимо, незаметно
Все движется и проросло.
И через разочарованья,
Сквозь время боли и обид,
Неумалима заклинаньем,
Вина неясная сквозит.
Вина распахивает окна
И разбивает стекла в ночь.

Вина прядет тоски волокна
В рассветы. Гонит время прочь.
Вина течет водой из крана
И ржавчиной грызет металл,
В той кислоте сомнений странных
И я распался и пропал.
И существую незаметно.
Везде, где свет. Везде, где тьма.
Я жду. Я верю всем приметам:
Все тоньше времени тесьма,
Все холодней потоки света,
Все шире космос, все видней.
Но ведь когда-то было лето,
И тьма сменяла свет поздней,
И утро раньше наступало,
И ночь была ко мне нежна.
Теперь укрыла одеялом
Меня вселенская вина.
Я виноват за сотни судеб
Зверей, растений и людей.
За то, что было, есть и будет
Предметом неземных затей.
Я виноват за все на свете,
Как равно виноваты все...
Воспоминания о лете
Меня не навестят во сне.

ТАИНА МОРСКОЙ РАКОВИНЫ

Раковины мягкий заворот.
Гладкая прекрасная спираль.
По спирали той я вглубь иду.
Уже, уже, уже завитки...
Вот я провалился в пустоту,
Пред глазами белый-белый свет.
Моря шум сознание заполняет,
Ровный, мерный, тихий, теплый шум.
Вот меня волна накрыла с головой.
Вот она печально отступила
И меня в пучину унесла.
На песке остался смутный след
Тела моего. Он оплывает и уходит,
Следуя за мною, как душа.

Вот и нет меня. И нет следа.
Слился с морем я. И вместе мы
Набегаем на берег волною.



СЛОВА

Снова ласточки низко в полете.
И тоской тяжела голова.
Вы на кухне, наверное, пьете
Чай. За стенкою ваши слова.
Там невнятные бледные лица
Приглушенный ведут разговор.
Занавески из пестрого ситца.
И в ведерке объедочный сор.

СТАЛЬНОЙ МОСТ

Иду я все мимо да мимо...
Как славно, что все же иду,
Что боль нестерпима терпимо,
Что вижу на небе звезду.
А музыка тише и тише,
Чужая — звучит за спиной.
И вот уж ее я не слышу.
И мост неподвижен стальной.
Иду я все дальше и дальше.
Слепая река под мостом.
Вот вечность. Без страха. Без фальши.
Я жив. Я не помню о том.
Но вскоре молчание тает.
И снова слышней и слышней...
Нездешняя песнь вырастает.
Как ветром подхвачен я ей.
Иду я быстрее, быстрее,
Все шире, все выше шаги...
Над городом музыка реет,
На двух берегах вдоль реки.



Я помню былое пространство,
Туманные песни теней...
В истоке немислимых странствий
Дрожанье светящихся пней.

Я помню немую дорогу,
Прозрачную, чистую тьму.
Доверившись новому сроку,
Мы не были рады ему...

СЛУЧАИ

Это ж надо такому случиться!
Совершая поверхностный круг,
Мне навстречу, как новые лица,
Расстояния хлынули вдруг.
Злых отрезков мгновенные стрелы
Раскаляют полночный эфир.
Мутным глазом мерцает несмелый,
Разобщенный, прерывистый мир.
Размножаются молнии муки.
Я ж гляжу, не моргая, светло,
На свои отдаленные руки
Сквозь пространства двойное стекло.
Ведь сольются отрезки, я знаю.
Станут прочной упорной прямой,
По которой к забытому краю
Шаг за шагом пойдете за мной.

ЖЕЛАНИЕ

Я строю свой воздушный сад —
Подобье высшего творенья.
Я нахожу заветный лад
И начинаю превращенья.
Я разделяю свет и тьму.
И получается, ей-богу,
Непостижимая уму
И в даль идущая дорога.
Но я хочу, чтоб этот мир,
Рожденный одинокой кровью,
Разрушен был в слиянье сил—
Слепою первою любовью.

●
...Знаешь, музыка стала дрожать.
Это было сперва, а потом
Появились большие слова,

Что напомнили родины гром.
Знаешь, как они были чисты!..
Я их стал понимать. То вода
Надо мной наклонилась, как мать,
И сказала: я буду всегда...

Тбилиси



Дмитрий ЛАКЕРБАЙ

●
Эта пора навсегда миновала.
Было ли детство, иль век не бывало?
Видно, и сердцу привиделось где-то
синее небо, бескрайнее лето..

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Это шепот и шелест белеющих вишен.
Это утренний ветер, горяч и порывист.
Я бегу по тропинкам, незрим и неслышим,
и на взлетах тропинок стук сердца прерывист..
Это солнце и брызги, и смех водопада.
Это Цихервы-речки кипящие струи.
Это ночью гудящая жарко цикада
и звенящие в гуще садов поцелуи!

ГРОЗА

Устал держать глаза сухими,
устал в кругу ходить кругами...
Устал я комнаты глухие
бесцельно измерять шагами.
И ливень за окном стеною,
и я сижу к нему спиною,
и головы не поверну я,
а он пускай кипит, беснуясь

и где-то вспыхивая косо,
внезапно озаряя светом
немые тысячи вопросов
и грозно — тысячи ответов.
Я из глубин иного мира
иду, себе не зная цену,
и жду, как молнии, удары
судьбы и жизни перемену.
Есть в буре жажда откровенья,
ей, точно исповеди, внемлю..
И в громовом самозабвенье
дождь разбивается о землю!

Так размышлял юнец наивный,
и старый дом молчал глубоко,
и отзывалось звоном стекол
в потоках жил биенье ливня.
...А он взрывался над дремотой
и дверь распахивал, ликуя,
и я с ним жил одною нотой,
и пел; смеясь и торжествуя!

Идет невидимое время,
и жизнь идет неумолимо,
еще не радость и не бремя,
еще — как море в час прилива.
Когда-нибудь
отхлынет море...
Последняя наступит дата —
и на пустом, как день, просторе
настанет грозный час заката.
В вечерний час всей жизни смута
пройдет чредою лиц и теней.
Придет молчания минута
над бездной прожитых мгновений.
Над кручей — ветрено и немо,
лишь крови шум в глухом укове...
Один... Угрюмый отблеск неба.
У ног — немолкнувшее море.
И в темноте плеснет глубоко —
еще одна волна угасла,
и чайка крикнула неясно,
и все... Конец земного срока.

...Она скользит, раскинув крылья
в нечеловеческом размахе,
и затаенно и бессильно
вздыхнет душа в предсмертном страхе.
Она скользнет в пустом просторе,
чертя невидимые знаки,
и незабвенный берег моря
утонет медленно во мраке...

АНТОЛОГИЯ

В комнате окнами на восток
сияжу, как восточный бог.
Из полумрака глядят на софу
Ли Бо, Цюй Юань, Ду Фу.
Потрепанный том на моем столе.
Туман — за моим окном.
Осенние листья плывут во мгле
лодками кверху дном.
И фото на стенах коснется дрожь,
но лица навек светло...
И только дремотный рассветный дождь
беззвучно кропит стекло.
Мертвые лица сквозь времена
с портретов глядят на софу.
А в сердце другие встают имена:
Ли Бо, Цюй Юань, Ду Фу.

Гагра





ДАТО КРАЦАШВИЛИ

Ты пришел в этот мир на 17 лет.
 Для тебя лишь зажегся пылающий свет.
 Ты поверил в мечту и открыл ей дорогу к себе,
 А она помогла превратиться тебе
 В часть Вселенной,
 Огромной, всеисильной, нетленной.
 И я твердо знаю, что ты
 Мог лишь в Грузии, к счастью, родиться.
 Только там в твою душу могли вселиться
 Бесконечная, дивная музыка гор,
 Всеобъемлющая красота берегов,
 Кисть художников, краски богов...
 Я стою у вечного огня.
 Алое пламя зыбко колышется на ветру.
 Снег, белоснежный, как саван,
 Покрыв землю, на которую ты еще не успел
 ступить,

Три года тому назад я впервые побывала в Грузии. С тех пор я жадно ловлю любое сообщение о любимой земле. И вот немного более года назад я вдруг узнаю о выставке работ у нас в Ленинграде грузинского мальчика Дато Крацашвили, умершего в семнадцать лет. Я побывала на этой выставке... И мне захотелось во что бы то ни стало поехать в Тбилиси, возложить букет цветов на

могилу Дато. В Тбилиси я познакомилась с тетей Дато — Мэри Васильевной и его бабушкой Олей. Что мы пережили в эти три дня?! Не знаю. Нельзя объяснить, нельзя понять, что произошло. Но знаю одно — мы теперь стали родными, мы так скупаем друг без друга, а особенно без Дато.

Жизнь Дато Крацашвили оборвалась 13 июля 1980 года. А родился он 9 июля.

Но тебя невозможно забыть.

Я обязательно возложу огромный букет цветов
На твою могилу и поклянусь тебе в вечной любви,
И на вечную память возьму с нее вечную
горсть земли.

●
Твои любимые места

Я обошла.

В Тбилиси старом пустота

Ко мне пришла.

Она спросила у меня:

«Как ты живешь?»

И я не знала, что сказать

От горьких слез...

●
Кто мог подумать, что через годы

В дом, где ты жил, где страдал,

Я попаду и по воле природы

Увижу, как ты рисовал.

Кто мог поверить, что где-то на свете

1963 года. Родился для того, чтобы созидать, чтобы творить. И он оставил на земле свой след. Его след не размочет дождь, не засушит солнце, не развеет ветер. Его след — это его работы, множество картин и двадцать стихотворений. Дато умер, а жизнь идет. Бег времени нельзя остановить, мы перед ним бессильны. А он — нет. Он остановил мгновение. На одном вздохе он создал то, что

многим не удастся создать за годы и десятилетия.

На стене у Мэри Васильевны и бабушки Оли висит портрет Дато. Я смотрю в его глаза и не верю, что он мог умереть. Он должен жить, хотя бы потому, что мы не можем без него, без его картин, без его стихов...

Мне надо уезжать в Ленинград. Я увожу с собой вечную память, вечную любовь и горсть земли с могилы Да-

Есть человек для меня.
Как же на тесной, прекрасной планете
Я потеряла тебя!
Кто мог услышать биение сердца
И подсказать, что в земле
Спрятана дверца, волшебная дверца,
Ключ от которой в тебе.

Вдалеке от дома счастья колесница,
Вдалеке туманы, розовые дали.
Снится мне Тбилиси, Грузия мне снится.
Вы в горах надежду с ветром не искали?
Под весенним солнцем пролетела птица,
Обожглась, но счастье все же испытала.
Снится мне Тбилиси. Грузия мне снится,
Сказочное счастье я в горах встречала.
День за днем мелькает, и мелькают лица.
Радости, печали, горькие разлуки.
Снится мне Тбилиси, Грузия мне снится,
Мне ее дороги завязали руки.

Ленинград

то. Я еду дорогами, которыми ходил он. Сила его произведений настолько велика, что объяснять ничего не нужно.

По старинной грузинской легенде юноша, пришедший на кладбище, увидел примерно такие надписи: Гиви родился в 1805 году—умер в 1880. Жил на земле 5 месяцев. Нико родился в 1830 году, умер в 1890. Жил на земле 2 года. Зураб родился в 1840 году,

умер в 1870. Жил на земле сорок лет. Пораженный юноша обратился за разъяснениями к сторожу. Старик ответил, что здесь написано, сколько каждый из умерших отдал любви, дружбе, счастью.

На могиле Дато еще нет надписи. Но она будет: Дато Крацашвили. Родился в 1963 году. Умер в 1980. Жил на земле вечно.

Марина КАГАН

ДОМ ЖУРНАЛИСТА

ТАК названа новостройка, которая недавно появилась в старой части Тбилиси. В результате реконструкции нескольких зданий создан единый гармоничный комплекс на площади Ираклия II, где отпраздновал новоселье Дом журналиста (автор проекта — архитектор П. Закарая).

На открытии Дома журналиста присутствовали Председатель Совета Министров Грузинской ССР Д. Картавелишвили, секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе, первый секретарь Тбилисского горкома партии Г. Габуния, первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии В. Лордкипанидзе, председатель исполкома Тбилгорсовета З. Месхишвили.

В четырехэтажном здании создан максимум условий для досуга работников средств массовой информации Грузии. В конференц-зале на 140 мест будут проходить встречи, творческие вечера, диспуты, пресс-конференции, демонстрироваться фильмы. Библиотека с книгохранилищем предлагает разнообразную литературу, периодику на многих языках народов СССР. В просторном выставочном зале будут развернуты экспозиции, посвященные знаменательным событиям в жизни республики и страны.

Состоялся митинг, на котором выступили председатель правления Союза журналистов Грузии, редактор газеты «Коммунисти» Г. Бединеишвили, секретарь правления Союза писателей республики, поэт Дж. Чарквиани и другие.

«ГОРЯЧАЯ ПАМЯТЬ»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Мерани» выпустило в свет сборник стихов, баллад, легенд и поэм известного осетинского поэта Реваза Асаева «Горячая память» в переводе на русский язык московского поэта Николая Горохова.

В сборник включена поэма «Капля крови», посвященная Ленинскому комсомолу и братской дружбе народов нашей страны, скрепленной кровью, пролитой в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

В предисловии к книге, написанной доктором филологических наук, поэтом Нафи Джусойты, озаглавленной «Стихи, которым война не нужна», рассказывается о жизненном и творческом пути Реваза Асаева.

Издание настоящего сборника приурочено к 60-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности осетинского поэта.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14.

